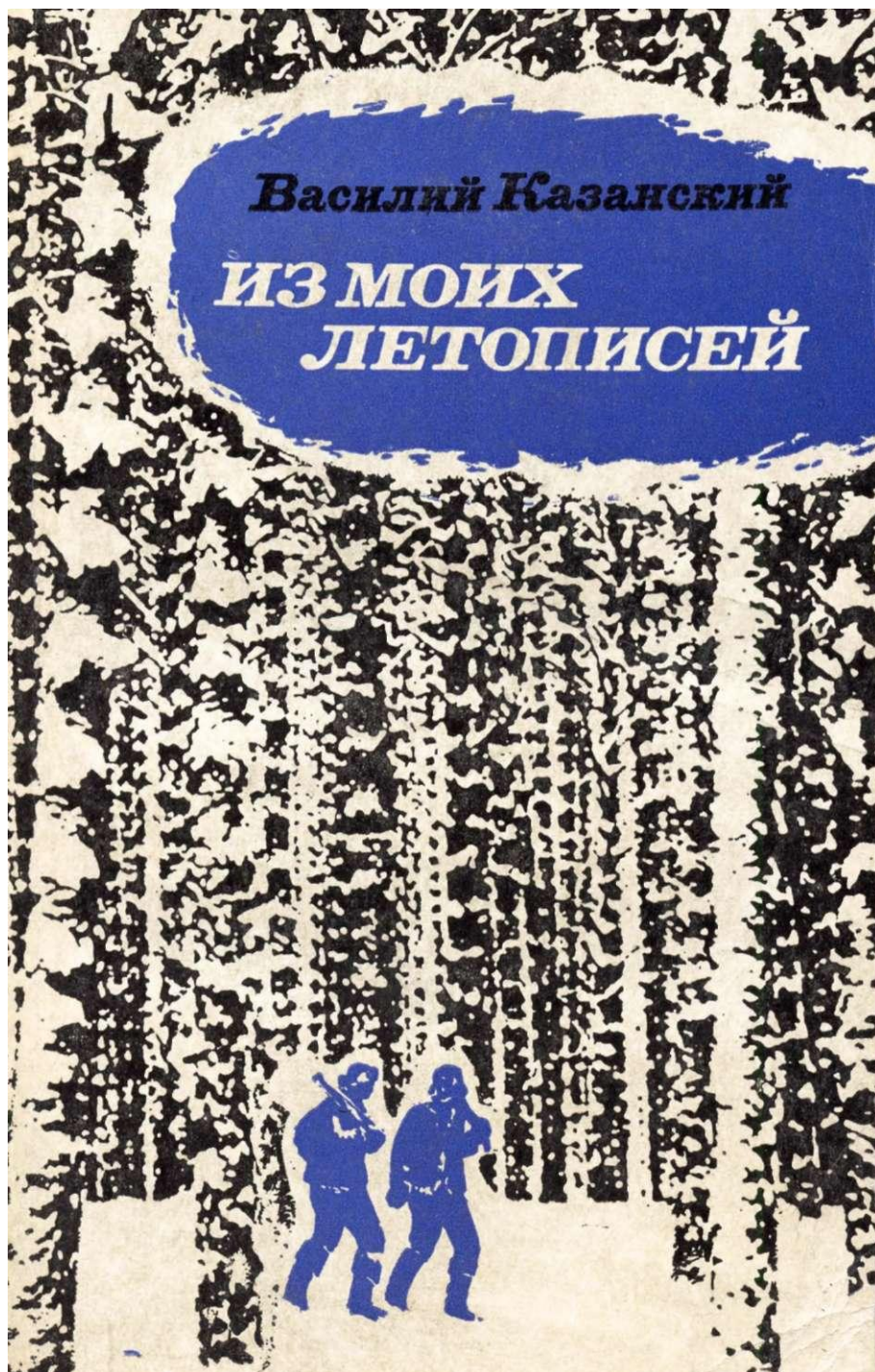
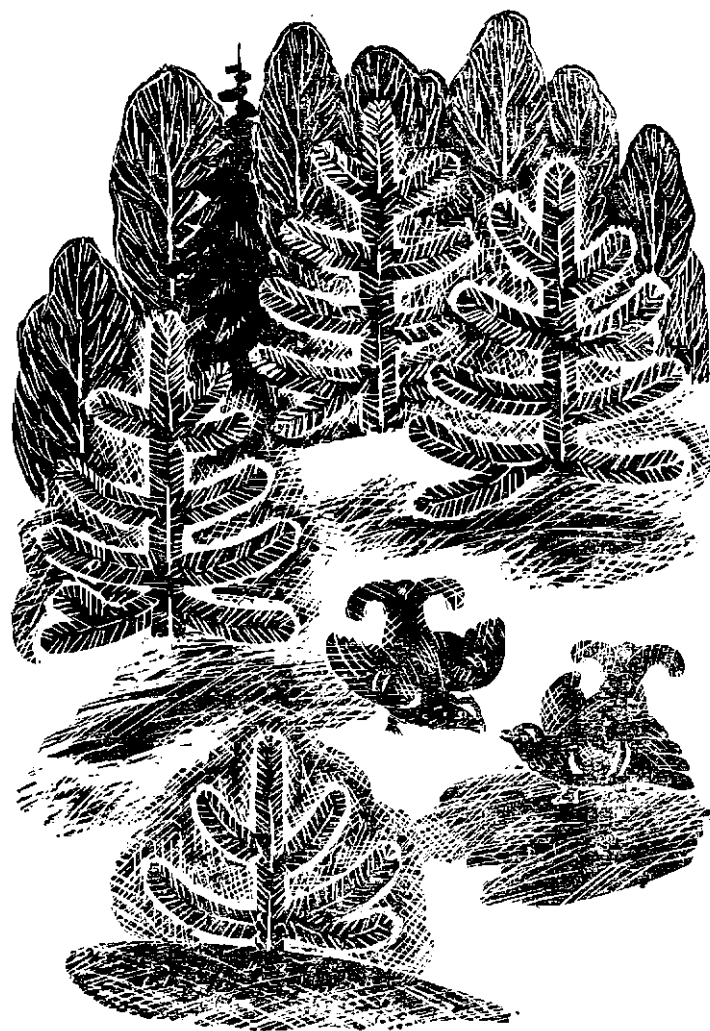


Василий Казанский
**ИЗ МОИХ
ЛЕТОПИСЕЙ**







**Василий
Казанский**

**ИЗ МОИХ
ЛЕТОПИСЕЙ**

ЛЕСНЫЕ БЫЛИ

Р₂
К14

СОДЕРЖАНИЕ

<u>Ефим Пермитин.</u>		Влюбленность	117
Об авторе	5	Дружок	122
Брусков	7	Осенью	129
Красота	20	После войны	135
Сенин	23	История с зайцами	146
Горе	38	Розка	150
Один глухарь	49	Не бросишь!	155
На съемках охоты Ро- стовых	59	С подсадной	163
Удаль	70	Моя первая гончая	169
Тяжелый случай	76	Старый рог	177
Наказание	86	Из моих летописей	187
Петя и Анна Ивановна	97	Словарь некоторых ме- стных выражений и охотничьих терминов, встречающихся в рас- сказах	213
Дружба	105		

КАЗАНСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

ИЗ МОИХ ЛЕТОПИСЕЙ. М. «Московский рабочий». 1971. Стр. 216. Р₂

Редактор В. Орлов. Художник Н. Игнатьев. Художественный редактор А. Беднарский. Технический редактор Л. Братишко. Корректор Э. Карпова. Издательство «Московский рабочий». Москва, ул. Куйбышева, 21.

Л 131541. Подписано к печати 13/X-1971. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бум. л. 3,37. Печ. л. 11,34. Уч.-изд. л. 10,93. Тираж 65 000. Тем. план 1971 г. № 182. Цена 32 коп. Зак. 504.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», Москва, Красно-пролетарская, 16.

ОБ АВТОРЕ

Василий Иванович Казанский после окончания в 1922 году Ленинградского лесного института больше тридцати лет отдал работе по лесоустройству, обследованию и проектированию освоения наших лесов. Сам уроженец Москвы, он с юношеских лет полюбил природу. Многолетние скитания по бескрайним просторам Родины научили его зорко видеть и тонко понимать красоту русских лесов, развили в нем то особое чувство, которое помогает полнее ощутить дыхание наших необозримых полей и лесов.

В. Казанский умеет не только понимать природу, но и создавать яркие, запоминающиеся ее картины. Пейзажи его всегда несут в себе особую нагрузку и помогают тоньше и понятнее раскрыть человеческие характеры. Это проявилось и в первой большой книге писателя — романе в стихах «Сквозь грозы», и в предлагаемых читателю «Лесных былях».

В книге «Из моих летописей» не случаен подзаголовок «Лесные были». В ней В. Казанский рассказывает о том, что случалось с ним, что слышал и видел он, работая во многих краях Советского Союза.

Рассказы В. Казанского отражают в первую очередь характер жизни самого автора, его любовь к русской деревне, природе средней полосы России, к простым труженикам нашей страны, крестьянам-колхозникам, лесникам, охотникам... Писатель, приглядываясь к жизни и быту людей, познал и многие виды богатой российской охоты, характеры охотничьих собак, повадки зверей, птиц.

Неизменным фоном рассказов В. Казанского является природа: весенняя, летняя, осенняя, зимняя, лесная, болотная, степная... Сюжетная канва в большинстве из них строит-

ся на эпизодах охоты. Поэтому на первый, поверхностный взгляд «Лесные были» писателя могут показаться просто сборником охотничьих рассказов. Но это неверно. Определение «охотничьи» в полной мере подходит лишь к некоторым произведениям книги.

В большинстве рассказов В. Казанского первенствующее место отведено человеку и человеческим отношениям, в них раскрываются простые и сложные человеческие судьбы. Природа же как бы усиливает в его рассказах черты людских характеров, помогает читателю почувствовать их красоту и сложность. В этом смысле Казанский выступает как последователь дорогих традиций нашей литературы, заложенных и развивавшихся еще в произведениях Тургенева, Чехова, Бунина и многих других писателей.

Постоянное и тесное общение с тружениками земли придало языку писателя выразительность и живость. Немало почерпнул он из речевой сокровищницы народной, и это помогает ему строить повествование занимательно и красочно. А глубокое, точное знание того, о чем ведет повествование В. Казанский — знание человека русского села, знание русской природы, жизни зверей и птиц, растений, — вносит в его рассказы характер достоверности и правдивости.

«Лесные были» прочтет с интересом не только природолюб, но и всякий любитель книги.

Ефим Пермитин



Брусков

1. Он сам

В годы нашего знакомства Василий Иванович (везло мне на охотников-тезок!) работал в лесничестве конюхом. Ему было тогда «круг» семидесяти, но в черных волосах, густых бровях и усах седины светилось мало; только борода побелела, да он ее брил.

Брусков казался ниже своего вышесреднего роста: и годы, и нелегкая жизнь ссугулили его, а вдобавок ходил он на немного согнутых ногах — «сел на задние ноги», как шутил он над собою. Черты лица у него были крупные, как топором сработанные — и нос, и рот, и скулы.

С грубоватой, мужественной внешностью у Брускова сочетались застенчивость и, я бы сказал, деликатная душа, чуткая к добру и красоте и ненавидящая неправду.

Нежно хранил он память о своей первой, покойной жене, а младшего сына Шуру больше всего любил за то, что он был на нее похож — такой же светловолосый, с таким же белым и миловидным лицом. Парень вернулся из армии и пока жил с отцом, работая в лесничестве культурным надзирателем¹ и готовясь в лесной техникум.

Свою вторую жену Василий Иванович презирал — «чистая воровка!». И жестко пресекал ее старания попользоваться овсом за счет «его» лошадей (они, разумеется, были казенные).

Брусков был влюблен в лошадей и в охоту. С первым ему везло. На действительной он служил в кавалерии, потом крестьянствовал да извозничал в городе,

¹ Объяснение специальных, малоизвестных и местных слов см. в конце книги: «Словарь местных выражений и охотничьих терминов» (Прим. автора).

на первой германской войне опять был в кавалерии (правда, потом ссадили с седла в окопы). И на гражданской Брусков воевал при лошадях. Только тут, как ни обижался, взяли не в конники, а в обоз из-за слуха, пострадавшего от окопной контузии. После войн побывал в деревне конским пастухом, а в колхозе — конюхом. И в лесничестве опять пестовал любимых лошадушек.

А вот с предметом второй влюбленности, с охотой, у моего друга не ладилось: умелым охотником он не стал. Мешало многое: и большая семья, и большая работа, и плохой слух. А все же его неумелость в охоте казалась неожиданной!

Как страстно, с каким усердием он ее любил! А солдатские-то качества! Разве они не свидетельствовали и о былой ловкости и отваге, и о других способностях, нужных охотнику? За отличную стрельбу из кавалерийского карабина Брускова наградили часами; даже теперь, в семьдесят лет, он вскакивал на лошадь без стремени. Да это что! В четырнадцатом году на Западном фронте он добыл Георгиевский крест за спасение пулемета, — ведь пулемет в царской армии был великая вещь. Командир эскадрона объявил: при отступлении пехота оставила на поле боя пулемет. Кто охотник выручит оружие — два шага вперед!

Выступил один Брусков.

— Желаете?

— Так точно, ваш вскбродь! Только разрешите доложить?!

— Докладывай.

— Пулемет, ваш вскбродь, лежит за чугушкой, а насыпь сильно высока. Через нее ползть надо. Коновод нужен коней держать, пока полозишь.

В коноводы пошел дружок Брускова Кузьмин. И съездили. Когда Брусков «полоз» через насыпь, фонирясь на небе, немцы осыпали его пулями, да не попали — так быстро ерзанул. А обратно, с пулеметом не шмыгнешь — пуля «цапнула» бедро... Ничего! Прискакали, и пулемет Василий Иванович привез на седле. Смел был, ловок. Такому лихому солдату и не быть лихим охотником? А вот не вышел.

III. Трубоч

Брусков горячо любил гон, охоту с гончей. Он умел ценить особый голос этой собаки, и не только его силу, но и все красоты, все фигуры звучания: залив, плачущие ноты, страстность — столь зажигательную для истинного гончатника.

Жил у Василия Ивановича выжлец славной русской породы — Трубоч (названный так, конечно, в честь кавалерийских трубачей-сигнальщиков).

Брусковский Трубоч хорошо гнал и лисицу, и зайца, да только мало тешил он гоном своего дорогого хозяина, а больше — его сыновей да гостей вроде меня. Не часто ходил Василий Иванович на охоту — дела не пускали, да если и вырывался, все равно маловато доставалось ему слушать гон — уши стали плохи.

Отправлялись мы с Брусковым в лес. Ходили там, порская и подсвистывая выжлецу. А Трубоч «лазил» по лесу старательно, но неглубоко и, часто попадаясь на глаза, радовал хозяина своим усердием.

— Ух! Давай, Трубоч! Буди его, буди! — басил Василий Иванович, как заправский доезжачий, и наслаждался. Вся обстановка охоты, ожидание гона волновали его и приводили в необыкновенное, счастливое состояние. Когда же Трубоч поднимал зайца и раздавалась его жаркая помычка, этот отчаянный заливистый взрев, Брусков весь загорался, сиял и даже на мгновение зажимурился.

Пока Трубоч гнал недалеко, он слушал, как бы купаясь в этой любимой музыке. Но стоило зверю увести собаку на каких-нибудь полкилометра — и старик уже ничего не слышал...

Благородный характер не позволял ему подставляться под гон вместе со мной, с моими ушами, и он бродил по лесу, не слыша, а только воображая гон.

Если ему исключительно везло и он вдруг встречал гонного зайца и снова слышал заливистый гон своего любимого Трубоча, он так волновался, что руки дрожали, и Василий Иванович большею частью мазал. Иногда от волнения и радости он не сразу мог выстрелить. А пока собирался с духом, заяц успевал скрыть-

ся в кустах. Случалось, что и вовсе выстрела не было — так дрожали руки у Брускова.

Но подобная незадача не смущала моего друга. Он подсмеивался над собой и драл сам себя за ухо: ах ты старый ротозей!

Убить зайца было для Василия Ивановича великим торжеством. Но если заяц и уходил в добром здравье, то Брусков и тут был доволен: «С каким белячугой повидался, поклонялся!»

Рассказов и описаний этого чуда потом хватало, по крайней мере, на месяц: как охотник слышал залив Трубача, как этот голос переливался, как силен был лай — чуть ли не все сосны и ели дрожали от этой силы; как Василий Иванович угадал, где побежит зверь: как заяц — белый, что твоя лебедь! — замелькал в кустах... Подробно описывался и выстрел: как дрожали руки, как приложился — целил, целил... Бац! — а он бежит... Из второго бац! — а он в кустах... Летел зверь, что самолет! Поди попади! А тут еще ему на счастье дед-ротозей, какому и подавно не попасть!

Если ни убить зайца, ни поглядеть на него не доходилось, Брусков не расстраивался: ни жадности, ни зависти он не знал.

Дороже всего было то, что ведь это его Трубач гонит отлично, из-под его Трубача взят гляди-кась какой красавец беляк!

Недальний выстрел Брусков слышал и торопился «приспеть» к чужой удаче, порадоваться ей.

— Проздравляю с победой! Зверя повалить, что сто рублей найти! — говорил он, торжествуя, как будто сам он нашел не сто рублей, а подлинное золотое счастье.

III. Лисицы

Любил Брусков рассказывать про свою охоту на лисиц. Вот как он говорил:

— У нашей деревни поля сильно велики. И ходят там по зиме лисы, мыша ловят — больше, где стога да соломы ометы.

А лесочки наши не особо большие — всё по оврагам, по вершинам да отвершкам — дуб, березка, осин-

ка, ну и орешник. Орехов годом родится — страсть! По этим верхам да буеракам, известное дело, лисицам — житуха. Изделают норь в самой-то непролази, в орешнике — так и черт не сыщет! В феврале месяце у них, у лисиц-то, гульба-свадебки. Тут они почем зря по полям шляются. Пробежит одна, надо быть сука, а за ней тем следом, гляди-кась, кобели шпарят.

Вот, взял я утречком ружье, покати на лыжах в поля. А снег-то выюги-метели передули, уложили, чисто тебе мостовую намостили. Лыжи тебя так и несут, так и мчат!

Я, конешное дело, не вылазил на чистоту, на голое поле, прокрадался вдоль лесу, вдоль опушечки, за кустовьем мастеровался. Глядь — по полю, чуть видно, далече, лисица сыплет! Ближе да ближе, к отвершку жмет. И забегала тут, закрутилась кругами. Ах, стерва, думаю, мышкует! Гляжу: прыг — да лапами, лапами снег роет... Ага, смотрю, поймала! Опять припустила вдоль оврага, опять зашнырила чего-то туды-сюды меж кустами, нюхала, вертела, да и присела на корточки — хвост распустила, малую нужду справляет. Сука! Стой, думаю, дело будет! А она покрутилась еще да и вильнула в овраг.

Я сейчас — ватник долой, пинжак долой, исподнюю рубаху белую долой. Одеюсь обратно, а нижнюю-то рубаху поверх всего натянул, спасибо, широкая была. Вырядился в белое да и давай бог ноги по ейный след с обходом, чтоб к засаде встречу следу подойти. И забрался я в можжевельный куст у того, значит, отвершка, где мыша поймала. Стал — стою. Ноги за кустом не видать, а тут рубаха белая, шапку в снегу вывалял. Стою, жду. Врешь, думаю, должн кобель прибець. Стою, поглядываю, еще застыть не успел, а он, друг, идет поем, идет, гляжу, идет! И прямо на сучий следок! Понюхал, верь по следу, как рванет! Во весь кальер лупит, что мой Трубач на следу, только что молча. Гляжу я, глаза расширил — красота какая! Красный зверь ко мне в руки катит! А сердце во мне замирает! Ружье наготове держу, а руки что лихоманка трясет!

Добёг он до сучкиной крутовни, и начало его мотать туды-сюды. Вертых! Вертых! Спешка такая, будто никак нельзя ему ничуть промешкать. И ведь все

рядом! Гляжу, как на нем мех горит под солнцем, играет, да как сам кобель на дыбочки становится, да прыгает, да сучкины следочки всё вынюхивает. Вертых — к кусту, круть — к ямке, где мыша рыла. До чего же, пес, поворотлив, ловок!

А сердце у меня совсем заходится, стою — себя не помню, руки ходуном ходят! Ох, стрелять надоть! Приложился тихонько, все боялся: зверь заметит... Да куды! Не до меня приятелю, горячка приспела! Целю, а мушка так тебе и скачет!.. Бац!.. Как сиганет мой кобель вбок, как пошел стегать! А как ни спужался, бес, все равно сучьим следом мчал! Эх, упустил я красу какую! Ну да хоть налюбовался.

Ладно же, пес тебя возьми! Свадьбы сыграете — придете к деревне побираться!

Недели через две кинул я позадь бани мясо — теленок в колхозе сдох. Лисьего следу круг деревни прорва: унюхают — придут!

Спусти три дня пошел проверить: ага, едена моя телятина! А ночи, аккурат, светлые подошли, месяц полный...

Забрался я с вечера в предбанник, вынул из заднего оконца раму со стеклом, — ружье в проеме лежит. Сижу на лавке — в окошко все мне видать, что на ладони. Только б не задремать! На небе ни тучки, месяц на тебя так вот и таращится, а в снегу искоря загораются! Глядишь — и глядеть хочется, до того на свете хорошо!..

Стал я подремывать... Вот забудусь, забудусь — и вдруг опять прохвачусь! Ах ты лихо! Опять спал! Глаза стараюсь шире, шире распахнуть, а их так и заводит, так и заводит...

Вдруг будто кто в бок кулаком толкнул — враз сон слетел. Глядь в оконце — и глазам не верю: снится, что ли? Гложет лисица мясо мерзлое, прилегла и голову набок, кость ли, жилу ли какую на самый коренной зуб ловит, переест старается.

Чую: душа с радости трепещется, руки знай трясутся. Целю, а сам себя ругаю: ты, халдей, в немца стрелял, руки не дрожали, а в лисицу — так и затрясло! Остервенись! — сам себе приказал.

Но тута ружье-то ведь на подоконнике лежало, не так его водило, как в поле. И грымнул — что с ору-

дия! Аж самого от окошка отсунуло! Пороху, видать, через меру положил, не пожалел.

Посмотрел в окно: батюшки! Лежит лисица на боку, только хвостиком повиливает! Вот она, удача!

IV. Лось

Московское лесное учреждение, где я работал, поручило мне, как наиболее опытному охотнику, «реализовать» лицензию на отстрел лося-быка.

Квартира Брускова могла стать удобным штабом для «лосиной экспедиции». Там был и ночлег, и лошади под боком, и лесники-загонщики. Лоси часто держались вблизи усадьбы лесничества.

Мое предложение приняли и начальство, и инженеры — участники охоты. Однако в назначенный декабрьский день к Брускову из Москвы приехал один я. Это было плохо, но я не удивился: кого-то страшил мороз, кому-то стало сомнительно, кто-то, глядя на других...

Однако откладывать не приходилось: снегу легло уже порядочно, хотя ходьба пока оставалась нетяжелой. Но ведь, того и гляди, навалит снегу — не пролезешь!

Посоветовался я с Брусовым. Из лесников ближних обходов он не нашел ни одного стоящего охотника. Своего Шуру он забраковал: молод! (И оказалось — зря.) Кандидатура в стрелки самого Василия Ивановича стала законной: как-никак охотник, да ведь и недаром на военной службе награжден часами за стрельбу! Лесничий отпускал своего конюха со мной, но вообще к нашей охоте он отнесся с недоверием (москвичи-то не приехали!). И дал он в загон всего двух лесников.

Я не такой тонкий специалист по лосям, чтобы выставить зверя на одного стрелка, но при трех номерах мне много раз удавалась охота. Теперь на два стрелковых номера выгнать лося — это много труднее. И я немного приуныл: удастся ли обложить лосей в таком месте, где легко разобраться, где их ходы хорошо известны?

Выстрел по лосю мало привлекателен, а выкроить в лесу не слишком большой, но и не тесный оклад, верно определить, куда зверю ход, а куда его никакими силами не загонишь,— это, по-моему, дает подлинное охотничье удовлетворение.

После недавних метелей и ядреных морозов лес так и остался густо запорошенным и готовым окатить тебя щедрым снеговым душем — только сунься в него. А еще хуже — создалась «однослевица»; порош последние дни не было, зверь набродил много, а следы засыпало сухим морозным снегом, и определять их свежесть стало возможно не на глаз, а лишь на ощупь. Вечером накануне охоты сильный ветер принялся обдувать малиновую зарю и заодно сбрасывать с леса его белые одежды. А ночью, еще до рассвета, Брусков подошел к моей постели и зашептал весьма гулко:

— Вася! Не спишь? Выдь-ка на двор, порадуйся!

Я накинул на плечи ватник и вышел на крыльцо. В черной темноте было слышно, как падают с крыши капли. Оттепель! Печатный след!

Повезло и с окладом. Мы обошли крупного быка в таком квартале, где ходы лосей я знал, как двери в своей квартире.

Лось мог идти только через широкий, добрый для стрельбы просек в двух местах. Один ход был ему метрах в сотне от сторожки лесника — здесь стал я. А другой — примерно в трехстах метрах подальше. Там у лосей была «улица» по лоштинке, скрытой от первого номера порядочным бугром. Там и пришлось стоять Брускову. Загонщики заходили с шоссе, ограничившего оклад с юга.

Перед моим номером свободно и непринужденно стояли березы, осины, ели крупного редколесья... Видно мне было далеко, и я спокойно прикинул, откуда может появиться лось.

Послышались крики загонщиков, тронувшихся по окладу. Нервы, конечно, почувствовали неизбежное охотничье напряжение. Как всегда на облавах, голова начала сама собой поворачиваться влево — вправо, влево — вправо... Глаза ждали: вот появится большое, темное... Все ближе гопанье левофлангового загонщика... Если лось думает идти ко мне, то пора бы...

— Оп! Оп! — совсем рядом, и я с облегчением

вздыхнул: Брускову стрелять! Теперь возникло иное напряжение: слух ждал его выстрела...

А выстрела все не было. Подошел загонщик Емелин, и мы с ним пошли просеком к Брускову... Огогоканье второго загонщика тоже уж близко к просеку, а Брусков так и не стреляет! Что за черт! Как мог лось уйти в сторону? Как я мог ошибиться? Ругая себя за самонадеянность, я чуть не бегом «накрыл», как сказал бы Брусков, его позицию... Но самого Василия Ивановича в этой точке не было!.. А шагах в тридцати за нею отчетливо виднелся крупный шаговой след лося, пересекавший наши окладные следы через просек!

Я крикнул:

— Брусков!

Ни ответа ни привета! Я крикнул еще раз — то же самое... А от указанной Брускову точки за можжевельным кустом шли вперед, в оклад, огромные следы калош, которые Василий Иванович надевал на валенки в «шлячу» (в слякоть). Ничего не оставалось, как тропить по этому следу «глухаря». След вел к густой куртине мелкого ельника.

Я подошел к ней:

— Брусков!

— Я! — как в строю гаркнул сипловатый бас старика, и он вылез из своей засады в гуще ельника.

— Василий Иванович, как ты смел уйти с номера?

— Никак нет, не уходил. А в елочки схоронился, чтобы зверь не приметил.

— О, черт возьми! Он тебя не приметил, а ты-то его? Вон он след проложил мимо тебя, и тридцати шагов нет! О чем ты только думал!

Брусков стоял такой подавленный, такой несчастный, что жалко было на него смотреть, а ругать и вовсе язык не поворачивался...

На следующий день приехали три инженера с ружьями. Барометр настроений лесничего пошел вверх, и в загонщики мы получили двух лесников и еще двух рабочих.

Я спросил Брускова:

— А ты что ж не собираешься?

— Я — сей минут! Догоню, только вот лошадки овса ждуть. Сей минут!

Но догнал нас Шура и, конфузясь, пробурчал:

— Отец за себя послал...
— А ты стрелять-то умеешь из двустволки пулей?
— Немного умею... Отец учил. Пулей на сорок шагов в спичечный коробок попаду... Охотник все же...

— А ты, парень, не врешь?
— Мы с отцом никогда не ввали...

В этом ответе слышалось столько любви к отцу и гордости за него!.. Я поверил.

Обложили мы четверку лосей. Оклад получился трудный. Я чувствовал, что лосей не уговоришь идти на боровчину с редкой крупной сосной. Но компаньоны мои знать ничего не хотели: «Пусть загонщики гонят сюда, на нас — вот и все». Как ни доказывал я, что у лосей свои твердые законы, для этих охотников все мои доводы оставались пустым звуком.

А я ход лосям из оклада видел только по ложине — чащей из бредины, березы, осины, ели, ольхи — местом, исключительно тяжелым для стрелка.

Шура ходил за мной по пятам.

— Тебе чего? — спросил я, чувствуя, что он что-то хочет сказать.

— Если они не хотят, позвольте мне тут... — и он покраснел.

— Вот какой ты догадливый! А не промажешь в такой гуще? Ну да ладно, становись здесь. А я пойду направляю загонщиков и прибегу к тебе.

Я отвел загонщиков на другую сторону оклада, объяснил, как им гнать, целя прямо на «инженерскую» боровчину, наказал выждать, чтобы мне успеть на свой номер, и помчался к опасной чаще.

Но терпенья у них не хватило. Они подняли крик, когда я был еще на полдороге... Ударил Шурин выстрел; лоси, разумеется, не посчитались с «заданным» направлением и пошли правее боровчины. Ну, а Шура Брусков оказался на высоте: быка мы нашли в сотне шагов от его номера; лось лежал не шевелясь. Не зря я поверил скромному парню!

Когда мы пришли в лесничество, Василий Иванович засветился, как новенький рубль. Запрягая в сани Серка, чтобы ехать за тушей, он повторял, приплясывая:

— Ай да сынок! Оправдал папашеньку!

V. Русак

Усадьба лесничества, где была квартира Брускова, располагалась в узком промежутке между шоссе и железной дорогой. Сразу за шоссе начинался учебный аэродром, обнесенный высокой оградой из колючей проволоки на столбах, — для охоты край запретный. Впрочем, проволока кое-где была прорвана лосями: их ни запрет, ни гул самолетов не смущали. Леса же между рельсами и шоссе-йной дорогой были «вольной» землей, и мы здесь охотились.

Стояло первозимье — милое сердцу время, пришедшее на смену осени, которая поднадоела своими капризами: то она лила дожди и разводила кисели на дорогах, то насылала недобрый безо времени мороз, и окаменевшие колеи могли вытрясти душу, если поедешь проселком на телеге. Уже не раз осень обманно притворялась зимой, закидывала землю снегом, а потом сама же смывала его, чтобы по ослизлым дорогам опять не было ни проходу, ни проезду. Лишь в декабре окрепли молодые зимние морозцы, бодрая и свежая пришла зима и ровно выстелила землю неглубокой, рыхлой порошкой: ну-ка, охотник, читай, что тебе настрочили лисицы и зайцы!

А заяц-русак жил совсем рядом с нами. На жиловку он уходил куда-то по шоссе, а спать являлся на аэродром, который считал своим «домом». Брусков изо дня в день видел его следы туда, то-есть в какие-то поля, и обратно — за проволоку аэродрома. Заяц выпрыгивал «под запретом», а там с нашей стороны были редкие лиственно-хвойные молодняки.

— Подумай, Вася, — говорил мне Брусков: — Ну до чего хитер, подлюга! Знает, проходимец, куды нам нельзя! А до чего аграмаден — с барана!

«Подлое» поведение русака так задевало Василия Ивановича, что старик не ленился каждое утро узнавать, тут ли «враг». Все явки «подлюги» были на учете у моего друга, каждую новую смётку с шоссе под проволоку он затапывал. А затапав, приходил ко мне в «келью» (это была каморка, которую он «отказал» мне в своей квартире). Он закуривал и принимался «жалиться»:

— Опять, змей, тута! Шоссейкой пристрочил да — шварк! — через канаву и поплюснил под проволоку аккуратно против нас. Чисто он нарочно дражнится!

Перепадали порошицы, хороня прежние русачьи письмена, и расстилали зайцу новые страницы... И вот наконец Брусков не стерпел и выступил с «конструктивным» предложением по поводу «бесстыжего».

— Ты тута, Василий Иванович, спасаешься в своей келье вроде преподобного Тихона Калуцкого, бумагу да чернила переводишь, а давай-ка пойдём, энтого чертилу убьём.

— Это как же? В запретной зоне тропить русака да на охрану напороться?

— Не напоремся! Один минт, минуту и нужно-то. Я уж три раза за им, за русаком, на аэродром ходил. Как его ни подымешь — у него одна ухватка: смолит он во весь кальер на шоссе, а там дует по гудрону — черт те куды. Я расплановал: тихим манером, с оглядочкой мы с тобой да с Шуркой пролезем на зорьке на аэродром. Вы двое — на номера, а я зайду противнику в тыл да и шугану на вас. Моментом обделаем. Поди поймай нас!

Предложение соблазняло: охота чуть не дома.

Наутро, едва рассвело, мы втроем вышли на шоссе. «Враг» не изменил привычке. Свежая смётка и след под колючку подтверждали, что русак прибыл спать на свою печку. И «трое вооруженных проникли» сквозь дыру в ограде.

Я и Шура стали на номера шагах в сотне друг от друга в редких листовенных мелочах с густыми куртинками молодых елок. Василий Иванович скрылся и, покашливая, бродил где-то во «вражеском» тылу.

Минут через пятнадцать загонщик торопливым шагом подошел ко мне:

— Ушел, змей, — вон за энтой горужкой... Давай-ка наутек, пока охрана не накрыла.

Мы махнули Шуре и через десяток минут уже сидели дома за самоваром, обсуждая неудачу «рейда» и планы будущих «операций».

Три утра мы ходили безуспешно. «Хитрущий сатана» (Брусков возвел его в такой чин) счастливо для себя миновал наши номера и удирал на шоссе. На четвертое утро разведка (то есть Василий Иванович)

донесла: нету окаянного! Видно, русаку надоели наши домогательства, и он приобрел где-то другое, более спокойное пристанище.

Брусков считал себя нагло обманутым.

— За им, за собакой, люди три утра ходют, а он, бессовестная рожа, что делает?

Два дня Брусков ходил сердитый, а на третье утро ворвался в «келью»:

— Тута! Сбирайся скорейча!

И опять «трое нарушителей проникли»...

Как ни варьировал русак свои «выходы из положения», но его «гнусность» мы раскусили. Стало известно: во-первых, ложится он в низинке с кустами можжухи; во-вторых, удирая, либо пересекает горушку с редким ольшняком, либо идет вдоль канавки с редкими кустиками серой ивы.

Оба эти лаза заняли стрелки. Старик ушел «шугануть». Став на номер, я невольно улыбнулся над усердием Брускова. Я, конечно, не мог предаваться нашей затее с такой же серьезностью, но все-таки это были приятные прогулки, приправленные элементом какой-никакой охоты.

Я стоял на номере, любовался снегом, розовевшим под косыми лучами только еще выплывшего из-за леса красного диска, слушал гул поезда, полный для меня напоминаний о чьих-то проносящихся мимо судьбах, жизнях... и чуть было не прозевал русака! Он катил ко мне почти весь седой, лишь с темноватыми ушами, розовой грудью и чалой спиной.

Сухо ударил бездымный выстрел... и заяц исчез. Я пошел осмотреть след. Навстречу из-за кустов выскочил Василий Иванович, и не успел еще я увидеть зайца за бугорком, как старик, схватив добычу, «помчался» на своих подогнутых ногах к дыре в колючей ограде. Он обнимал русака обеими руками и прижимал к груди, как мать бесценного младенца. До чего же трогательно радовался Брусков!

Мы с Шуркой тоже не мешкали и через три минуты оказались все трое на «своей» земле веселые и счастливые.

Больше всех ликовал, конечно, Василий Иванович, радуясь вот уж подлинно как ребенок:

— Ай да Вася! Вот герой! Теперь поедешь в Мо-

скву не с пустыми руками. Супруге какого богатыря свезешь!

Но разве мыслимо было увезти этого действительно великолепного русака? Заяц был и вправду необыкновенно крупный. Василий Иванович даже был скромн, когда говорил «с барана». При том жар, с которым он взялся за «врага», правильное было бы определить «с телка». И старик оказался бы прав. Почти.

И был у нас великий пир, и Брусов с большой душой пел свою любимую:

В островах охотник
день-деньской гуляет!
Нет ему удачи —
сам себя ругает!..



Жрасота

По осени я ездил с гончими к Сенину. Семья у него в те годы была большая и нерабочая: детей шестеро мал мала меньше, да еще мать-старуха с парализованными ногами. Хотя Настасья, жена Василия Ивановича, и была, по его выражению, на работу «гораз уда-лая», но все равно получалось близко к поговорке: «Один с сошкой, а семеро с ложкой».

Муж с женой из сил выбивались, а от нужды никак не могли уйти, даром что колхоз смело можно было назвать крепким.

Осенью Сенин брался за ружье, за капканы, за флажки, добывал белку, норку, горностая, лисицу — пушниной деньги зарабатывал.

Настя недолюбливала моих гончих и поругивала мужа, когда он, не выдержав соблазна, присоединялся к моей охоте с дружным и вязким смычком англо-русских гонцов. Ну, убьет он пару беляков за день — не велика корысть. Оно верно, что ребятам мясо да ко-

нейка нужнее; и на одежонку тем же ребятам надо, и на хлеб. И поэтому нечасто охотились мы с Сениным вместе, а больше ходил я с гончими один.

В тот раз я взял отпуск с 15 ноября, и только приехал в Заозерье, как в первую же ночь, словно по заказу, на подмерзшую пеструю тропу выпала великолепная пороша — мелкая, ровная, сыроватая. След печатный, а заяц не станет слишком уж таиться: он и по пестрой успел к снегу приглядеться...

Ясное дело: утром надо идти с гончими. Звал я с собой и Василия Ивановича, но тщетно.

— Ты подумай, — отвечал он. — Тишина! Нынче белку за версту услышишь. Можно ли такой день упустить?

Он добывал белку «на подслух», выслушивая, как зверек шелушит шишку, а еще в зоревой час на переходах (на рассвете белки перебегают определенными наземными лазами). Собаку Сенин не держал: хлеба ей много надо.

Ушел Василий Иванович еще затемно.

Накормив гончих, отправился в лес и я. Шел я дорогой и поглядывал, как на следу Сенина «каблук до лета прохватывал», то есть ямки от каблуков в снегу доставали до земли и поэтому чернели. А как говаривал еще отец Василия дед Иван: «Каблук до лета — не к зиме примета». Этим выражалось, что такая пороша обязательно должна растаять, слинять.

Ночью было примерно около нуля, а после восхода солнца еще потеплело. Снег с деревьев стал падать лепешками, и в лесу на ровной пелене начали появляться ямки.

Тишина стояла действительно полная. И чувствовалась она тем сильнее, что и своих-то собственных шагов я не слышал: мягкий и влажный снег не только не скрипел под ногами, но создавал какую-то особенную бесшумность движения. Не было бы снега, так даже мокрый лист тихонько шуршал бы под подошвами, а тут он оказался укрытым ровно и плотно.

Я спустил со смычка Фагота и Сороку, и гончие мгновенно скрылись в лесу. Но, видно, оттепель да ночной снегопад не то, что ядреный морозец: заяц на-

бегал мало, а, может быть, иной и вовсе не вставал. Долго шарили гончие по лесу, не находя зверя.

А таяло все сильнее, и, как это часто бывает в такую погоду, в такое тепло, поднялся довольно густой туман. С деревьев начала падать капель, редкая и потому почти не нарушающая тишину.

Собаки мои усердно лазили по лесу, лишь изредка показываясь на глаза. Я шел дорожками и, подсвистывая, давал им знать, какого направления придерживаюсь.

Наконец вдали раздался отчаянный вопль Фагота, очевидно помкнувшего «на глазок». Затем его певучий баритон зазвенел и заахал ровно и горячо — начался настоящий гон.

Сорока через минуту подвалила, и ее высокий, залиvistый голос присоединился к стонам Фагота, заиграл, почти не разрываясь на отдельные взbreхи.

Беляк, очевидно матерой, повел гончих напрямую вдаль. Я подожду, не повернет ли к месту подъема, к лежке, но гон пошел по широкой дуге, забирая все левее, затем, сделав как бы петлю, помчался вправо, чуть ли не по той же кривой, а затем стал удаляться.

Ну что ж, нужно было самому подвигаться к гону, и я побежал. Туман теперь стал таким густым, что я легко сбился бы и потерял бы ориентировку, если бы не так основательно знал местность. И все же густая мутная завеса, конечно, здорово мешала; не в каждую минуту твердо знал я, около какой именно мшарины или рёлки нахожусь. А гон кипел дружно и азартно. Даже перемолчек по одной-две минуты и то было немного, а долгих сколов не было совсем.

И, как это случается в сырую, туманную погоду, голоса гончих звучали необычайно сильно и певуче.

Но как бы увлекательно ни играли звуки гона, все же это была охота, и, спеша к месту, где заяц принялся водить гончих на нешироких кругах, я прикидывал, как лучше перехватить гонного зверя.

Выскочил я на широкий и чистый кварталный просек, который тянулся как раз к суходольному массиву, пересеченному сенокосными ложками, где и кружил беляк под гончими.

Выскочил я на эту удобную линию, остановился, чтобы прислушаться к движению гона... И тут увидел

маячившую в тумане человеческую фигуру. Кто-то стоял на просеке; над его плечом виднелись стволы ружья, должно быть висевшего на ремне.

Не приходилось гадать, кто это. Конечно, на просеке оказался мой друг и хозяин Сенин. Он стоял ко мне спиной и слушал гон.

Сильные и мелодичные голоса гончих звучали еще мощнее и музыкальнее, чем обычно, благодаря туману и воздуху, сырому от тающего снега. И, что особенно поражало, звуки часто менялись: то делались более гулкими, слитными и вместе с тем более низкими, то мощное аханье Фаготова баритона и протяжные взвизги Сороки становились раздельнее, отчетливее, и тогда гул эха ослабевал. Это получалось, по-видимому, от того, катился ли гон лесом или вырывался на сенокосные луга.

Я подошел к Василию Ивановичу сзади. Он меня не заметил. И пожалуй, не заметил не потому, что мои шаги были бесшумны: под сапогами у меня хрустнули валежинки, и он, конечно, слышал это.

— Василий Иванович! — негромко окликнул я.

Он не оглянулся.

Я позвал еще раз, и он опять не отозвался, не шелкнулся, стоял неподвижно, словно застыл.

— Василий Иванович, ты что же не идешь подставляться?

Он, не оглядываясь, махнул рукой, как показалось мне, с досадой:

— Молчи... Ты послушай, красота какая!..



Дело было еще до колхозов. Василий Иванович, средний из трех сыновей не бедного и не богатого валдайского крестьянина Ивана Семеновича Сенина, отделился от отца первым.

Срубили Васе славную избу со двором, выделили во всех полях по полоске, дали, что положено: лошаадь, корову, овцу, всякую крестьянскую снасть да сбрую. И зажил Василий со своей Настасьей сам по себе. Работы они не боялись, к труду крестьянскому были способны, и прочно стал Василий в ряду основательных хозяев деревни Заозерье. Детей пока было двое — сынок Яша да дочка Тоня. Пожалуй, быть бы ему и более зажиточным, если бы не безудержное пристрастие к охоте. А ведь недаром говорится: «Рыбка да рябки — прощей деньки!» Но куда денешься, если ты уродился охотником в отца Ивана и в деда Сенью?

Да и очень уж шло самому Василию быть охотником. Среднего роста, широкий, «крепко сшитый» да, впрочем, и «ладно скроенный», он обладал немалой силой и выносливостью. Своей несколько развальной походкой он мог выходить за день десятка три-четыре километров, и хоть бы что!

Лицом Сенин был смугл. Даже темные, коротко подстриженные усы не резко выделялись на его крепком загаре. Зато серые, широко расставленные глаза светло поблескивали над коротким прямым носом и просто и открыто встречали взгляд хоть человека, хоть медведя.

Красив был Василий Сенин!

II

Август шел к концу. Овсы уже зажелтели и на ветру словно призывали кистями с крупным, налившимся зерном. Лишь кое-где края полос под обступающими их ольховыми чащами оставались темно-зелеными. Заозерье не спешило с уборкой овсов — пусть постоят, доспеют. Работы и без того хватало: рожь молотить да сеять.

Погода держалась сухая, ясная, и после солнечных дней вечерние зори к морозам, к утренникам горели оранжевым огнем. Вечера тоже заходили. Оно и ладно: в теплую, сырую погоду комары охотника на лабазе донимают.

Василий пришел на полосу вовремя: солнце только-только убиралось за лес. Ель для лабаза была им выбрана с расчетом: если сесть лицом к полосе, то площадка, исползанная медведем, окажется левее. Авось он придет туда же, а выстрел влево самый удобный.

Влез Василий на ель, уселся на жердях, положенных на ее сучья, огляделся, подрезал и оторвал тонкие веточки — не помешали бы...

Потянулись минуты и часы ожидания... Небо меркло, в восточной стороне загорелась звезда, мигая и играя своим ярким блеском. А на западе угасал закат, сперва желтый, золотой, потом оранжевый...

Сидел Сенин, поглядывал, прислушивался... Нет-нет да и прошуршит на землю отживший березовый или ольховый листок, напоминая, что лето ушло... Из деревни невнятно долетают людские голоса. Вдали переговариваются разноголосые колокольки на лошадиных шеях — это кони пущены в ночное на «выгороду»... Долго Василий слушал эту неумолчную болтовню глуховатых, но и доносчивых звуков... Но вот чуть слышно лось застонал... Его редкое далекое оханье двигалось от Рябуков к Спорным... Дрозд порхнул на елку, сел рядом и вдруг, поняв человека, улетел с испуганным чоканьем... Лось стало не слышно...

Сидел Сенин на лабазе, призадумался. А подумать ему было о чем, и больше всего о младшем брате Сашке.

Так сложилось, как говорится, судьба так велела, чтобы Александру по возвращении из армии довелось жить с родителями на «коренном месте», хозяйствовать с отцом на сенинской степени. Василий отделен, а старший брат Григорий только и ждал Сашку, чтобы сдать ему хозяйство, а самому на завод уйти.

Александр, со своей выправкой, писарской «образованностью» и зеркально начищенными сапогами, сверху вниз глядел на односельчан да и на отца тоже. Среди мужичьих бородатых, обветренных и худощавых лиц Александр был как чужой со своей бритой, белой и сытой «личностью». Должно быть, неплохо ему жилось в писарях — не зря он три года сверх срока отслужил.

Недолго погулял Александр в парнях. А жену взял

красивую да и больно норовистую. И начались в старом сенинском доме шум да нелады. Сашка заодно с молодой женой принялся прижимать стариков: лодыри, мол, дармоеды! Мол, и Васька и Гришка отделены, живут без обузы, а нам с Марфой за всех отдуваться, старье кормить!

На степени были две избы, две коровы в хозяйстве; старик оставил себе еще нестарого мерина да кобылу, рысистую полукровку — найди в деревне другую такую! И огород на корне старинный, ухоженный, и полосы в полях самолучшие. Да ведь и старики покуда не бездельники: мать еще печку сама топит, а отец, вон он как косит! Да и пасека у родителя — десять семей пчелок-то!

На этакое хозяйство чего бы не жить? Только руки приложи без лени. Но вот именно лени и хватало у Сашки, лени, да зависти, да наглости: отца перекричал, заставил покориться (и кулаком, говорили люди, не только грозил...). Забрал он в хозяйстве всю власть: одну корову продал — Марфе на шелк, себе на черную суконную пару. Кобылу запалил — хвостал резвостью, гонял без ума. А на запаленной какая уж работа! До пасеки добрался, три улья продал — прогулял.

И с землей Александр не поладил. Он с ней «лишь бы как-нибудь», так и она ему «кое-как». А потому пошли прорехи да нехватки. А на ком зло срывать? На стариках, конечно! На беду еще они и слабеть стали: мать сердцем разболелась, а тятю ноги начали донимать: всю жизнь охотничал, так мало ли вымокал да простужался!

И Василий, изба которого стояла против отцовской через улицу, все чаще и чаще слушал, негодуя, злобную и непристойную Сашкину брань. Не раз приходил к нему отец:

— Ох, Васенька, жить тошно...

В лесу, близко позади охотника, тихо, но отчетливо хрустнула на земле ветка... Идет!.. Еще хрустнуло поправее... Зверь, наверно, выйдет в правом углу полосы...

«Вот гад! — подумал Сенин. — Попробуй-ка, целься через правое плечо!»

Он решил поправиться, осторожно начал поворачи-

чиваться... Но задел головой за сучья, стал отводить их рукой, а тут ружье поползло с колен... Схватить успел, но все эти неловкие движения медведь, должно быть, услышал в нерушимой тишине леса...

Больше часа сидел потом Сенин на лабазе зря, сильно продрог и — делать нечего! — слез на землю и отправился домой.

Еще шагала стежкой по огороду, услышал раздраженный голос Александра в отцовской летней избе. Вырвалась Сашкина ругань:

— Я те покажу, старый хрыч! Я те выучу, дармоед проклятый!

Сердце у Василия заколотилось — горяч был человек! — и бросился он от своего дома к отцовскому.

Бегом поднялся по ступеням высокого крыльца и рванулся через сени в летнюю избу, где гремел Сашка.

При свете тусклой керосиновой лампы он не сразу заметил отца, сидевшего на полу возле печи. Крупное, грузное тело старика обессиленно поникло, а грубоватое лицо с тяжелым носом, черными мохнатыми бровями и седеющей окладистой бородой показалось ворвавшемуся Василию страшно худым, осунувшимся, непомерно морщинистым. С дрогнувшим сердцем Василий заметил блеск слез на втянутых щеках отца.

Сидя у стола, красный и потный Сашка заорал:

— Тебя еще зачем принесло? Сами разберемся!

Задыхаясь от негодования, Василий долго не мог заговорить.

— Как ты смеешь таким словом отца!.. — Он схватил брата за ворот, стал трясти: — Отца... отца... отца...

Тот вывернулся, и они схватились. Василий стал валить Сашку... Грянул выстрел — это ружье, висевшее у Василия за спиной, задело курком за лавку. Изба наполнилась дымом, поднялись вопли. Отец кричал:

— Спасите, хрещенные, спасите!

Мать бросилась вон, запнулась о порог, повалилась и стонала.

Марфа истерично орала:

— Ой, Саша! Ой, Саша! — ей померещилось, что муж убит.

Тяжело переводя дух, Василий сел на лавку у окна.

Выстрел напугал всех, заставил разъяренных братьев опомниться и повернул ход ссоры.

Сашка задымил папиросой.

Молча свернул сигарку и Василий.

Долго сидел он, согнувшись, опираясь локтями о колена. Сидел, обдумывал, что же делать. Взять стариков к себе? Не выходит. Тесно будет: изба у молодого хозяина небольшая, что толку, что новая да чистая? Да и земли у него одна душа — большой семье трудно прокормиться. А у отца две избы — зимняя и летняя, обе просторные; а про землю и говорить нечего — вдвое против Васиного.

Нет, стариков брать к себе не нужно. Не так надо сделать.

— Вот что, Сашка, сменяемся. Переходите с Марфой в мое поместье, а я сюда, к родителям, вернусь.

В избе стала мертвая тишина. Даже мать, добравшаяся до кровати, перестала всхлипывать. А Александр и рот разинул: чудо! У Васьки хозяйство из всей деревни особенное — ладное, стройное, порядочное, скотина сытая, огород ухоженный, весь инструмент, вся справа прочная, чистая.

— Все хозяйство отдашь? — спросил Сашка.

— Все, как есть.

Знал Василий все. Двор на степени велик, да грязен непролазно (Сашке лень было отводную канавку прокопать), кобыла запалена, мерин опоем, пашня кое-как расковыряна, а иные полосы и вовсе не паханы... Все худо, все запущено, сбруя — рвань, телеги ломаны...

Ленивый и жадный Александр не поверил. Он вообразил какой-то подвох и набросился на брата с руганью — в бога!.. в заразу!..

Но Василий с маху так стукнул кулаком по столу, что Сашка смолк. Понял.

III

И был заключен небывалый, неслыханный договор. Братья обменивались «жильем и житьем» полностью.

Все, что имел Василий от дома до полос в полях,

до последних вилок, до последней чашки, все переходило во владение Александра с Марфой.

А Василий с семьей переселялся к отцу, чтобы хозяйствовать на степени. Лишь одежда, одеяла, полотенца оставались у каждого свои. Александр потребовал и ружья «не трогать с места». Василий зачесал в затылке. «Ну и сволочь!» — подумал он. На скулах у него заходили грозные желваки.

Ведь старинная централка Ивана Семеновича изнасилась хуже своего хозяина. Уж давно отец жаловался Васе, что затвор хлябает, и на осечки старик обижался. А у Василия работала новенькая тулка, которую он с великим торжеством лишь прошлой зимой купил, сдав заготовителю полторы сотни белок да тройку куниц.

— Да ну тебя, Сашка! Ты же не охотник. Ружье я себе свое возьму. Да ты шутишь, небось.

— Какие тебе шутки! Это ты хитришь да вертишь. Не на таковского напал! Я своего никогда не упущу!

— «Своего»! Вишь, что сказал! Глаза завидующие! Бери тяткино, коли тебе ружье обязательно нужно.

— Не согласен!.. — начал Александр, но его перебила жена:

— Что же ты, Вася? Выходит, только на словах родителей жалеешь, добряком представляешься, а как до дела дошло, так торговаться! Лучше признайся, скажи: жила я, хочу зажить!..

Ух, раскипелся Василий... Но сдержался. Так пропади же все под горячую руку! Крикнул:

— Так берите же, коли совесть такая!

И свершилось наутро то, о чем долго потом с удивлением и уважением судили и рядили в окрестных деревнях, и ближних и дальних. Произошло, по деревенским понятиям, невероятное: отделенный сын, крепко поставивший свое гнездо, уже обросший собственной семьей, пошел на великую жертву, чтобы избавить родителей от измывательства и жестоких попреков. Пошел на жертву, невзирая на то, что принимать пришлось от лодыря одно разорение, пошел, не боясь принять на свои плечи прокормление дряхлеющих родителей. Пошел на все это, махнув рукой на вопли Настасьи, проливавшей нестерпимые слезы.

Совершился обмен, перебрались братья на новые

жительства. Перебрались, разложили по местам перетасченную одежку.

Посидел Василий со стариком, потолковали: рожь сеять надо. Ведь Сашка один во всей деревне не удосужился посеять. Спасибо, хоть семена не пропил!

Взял Василий со стены тяткино ружье, да так и ахнул: стволы, колодка, затвор — все краснело сплошной ржавчиной, а на месте гринеровского болта зияла дыра...

— Ой да тятка! Да как же ты до такого довел?

— Ох, родненький! Разве ж это я? Сашка под свою власть и ружье у меня отобрал. Мне и касаться не приказывал. Раза три таскался он с ним куда-то, и леший его знает, что натворил с ружьем...

Пришлось Василию ружье в керосине отмывать, да отчищать, да, как можно, подправлять.

IV

Шли годы... Умерли старики Сепины. Зато народилось у Василия Ивановича еще три дочки, всех ребят набрался полный питок. Да все мелкота: «Кому соски, кому грифельны доски» — острил отец. В деревне Заозерье произошло большое событие: создался колхоз. Только еще привыкали заозерцы к общему хозяйствованию, только налаживали. Хоть и дружно принялись за новое дело, да ведь не сразу Москва строилась — не все еще стало на свое место. Ну и заработки пока еще были небогатые: ладно, если на трудодень получишь ржи килограмм.

Василию и Настасье при такой куче ребятишек, конечно, трудно доставалось. Необходимо было прирабатывать на стороне. Вот и пришлось Василию понять, какое большое дело — договор на сдачу пушины!

Деревня стояла на берегу озера, а поля ее разбросались клочками меж мшарин да песчаных бугров, поросших сосняком и ольшняком. Кругом — на много верст леса да моховые болота. На то он и есть Валдайский край!

Глубоки выпадали по зимам снега, широки стояли

вешние разливы на болотных глядах, зло кишели по летам тучи комаров и оводов. Тяжелы были для ходьбы по осеням болотные мхи, досыта напивавшиеся водой, чавкали они, жадно засасывая ноги охотника.

Но привычному, коренному, здешнему — все нипочем. Немало белок добывал Василий Сенин со своей лайкой Айной, брал и куниц, ловил в капканы норок, хорей, барсуков, ходил на лисиц с флажками (лишь бы товарищ в загонщики нашелся). Подкарауливал он и медведей на овсах. Это была важная охота: ведь сколько мяса семье!

Мастер был Василий Иванович на всякую охоту, но добыча, конечно, была бы куда богаче, если бы не дряхлое ружье. И заряжать его надо было с особой сноровкой, и осечки мучили.

А на новое денег никак не набиралось: все, что зарабатывал, шло на ребят, да еще и не хватало. Немало добычи упускал Василий из-за плохого ружья. И сколько же раз поминал он Сашкину подлость!

V

Февральские вьюги давно отбушевали, и если теперь, в конце марта, метели еще и поднимались, так они становились раз от разу все смирнее. Синицы, весело решив, что весна — вот она — рядом, лихо отзванивали свои удалые песенки. Звенели и овсянки, но куда степеннее, словно сдерживали свое вешнее торжество. Однако скрыть его все равно не могли.

В полях кое-где бугры и межи зачернели, но лес строго оберегал свои снега, позволяя оттепелям лишь осаживать их. Солнце все же забирало силу, и снега делались крупитчатыми и теряли белизну.

Однажды под утро выпала свежая порошица. А когда поднялось солнце, она засверкала так бело, что глаза слепила. Синими полосами легли на снег тени деревьев, сине побежала свежая лыжня, не зимнему мелкая, потому что под порошей, под этим тонким пуховым одеяльцем, ночные морозы плотно вымостили наст.

Василий Иванович решил: в самый раз теперь проверить глухариные тока. И «почерк» глухариный прочитаешь, и на лыжах ход лёгок. А то ведь нагрывает тепло, расслабнут снега, и лес на много дней станет неприступным. Вот тебе и будет проверка!

Утренняя зорька уже заалела, когда Сенин выходил из деревни. Километра три он шел лесовозной дорожкой, таща за собой лыжи на бечевке. Подруга Айна, закрутив пушистую баранку хвоста, бежала впереди. Она, правда, сейчас в лесу ни к чему: бить пушного зверя нельзя, у него волос уже потёк. Ну да пусть собака побегает!

Хрустел под ногами снег, на светлеющем небе терялись звезды. У Больших Вырубов сбоку дороги сквозь сосняк засветлела болотная гладь. Сенин стал на лыжи и бесшумно помчался по мягкой порошке на просвет. Поверхность снега на болоте после долгой осадки оттепелями стала волнистой и теперь, отражая зарю, розовела полосами и пятнами. Охотник попробовал пройти без лыж. Не вышло: наст не держал, и Сенин стал проваливаться выше колена. Встал на лыжи — только успевай переставлять ноги!

Из красного разлива, из-за черного леса вырезалось солнце. Сенин выбрался на кряж в старый бор, пересек бугор и снова спустился в низину — в Корняковскую суболоть. Здесь в некрупном, но старом сосняке и был давнишний ток. Прошел немного. Вот след глухаря, по сторонам волнистые черты от крыльев. Вот с этим следом пересекался другой... Кое-где птицами натоптаны настоящие тропки, местами одиночный след прерывается — это глухарь подлетывал, распевшись.

Все в порядке — птица есть. До времени здесь делать больше нечего.

Василий Иванович покати́л на другой ток — в Рябуки. Спешил он как мог, чтобы пройти побольше, пока солнце не испортило путь. Айна носилась впереди и иногда в поиске скрывалась надолго.

Лай послышался вдали... Небось, белка!

— Айна! Айна! Брось! Сюда! — Но, всегда послушная, сука на этот раз не подчинялась и продолжала лаять, даже как-то злобно...

Василий Иванович пошел на лай, попал в густой

еловый жердняк, продрался через него поближе и сквозь чащу увидел Айну и впереди лайки в снегу темное... Ружье разом очутилось в руках... Один на один с крупным медведем! Может быть, и жутко, но у Сенина мысль пришла поважнее: «Дробью заряжено».

Патроны с пулями оставались в патронташе еще с осени — три штуки. И Василий Иванович торопливо принялся перезаряжать ружье — горе и беду свою. А дело предстояло непростое, работа дурная! Ружье (то самое, что досталось ему при возвращении в отчий дом) уже давно, что называется, дошло до ручки. От многолетней жаркой службы стволы истончились, как бумага. Патроны глубоко проваливались в патронники. Бойки даже не доставали бы до пистонов, но мудрый хозяин додумался наматывать бечевочки под шляпки гильз. Но никогда все же нельзя было ручаться, что осечки не будет, что ружье «сдаст». Болт Гринера был потерян. Его работу исполнял старый, обтертый винт, привязанный на шнурке к спусковой скобе. Чтобы запереть ружье, Сенин совал этот винт в гринеровский паз и заколачивал обушком клещей, а они всегда лежали у Василия в сумке, и чтобы забить винт, и чтобы вытащить его. Еще была штука: чтобы не отваливалось цевье, на него надвигалась жестяная муфта, охватывавшая и само цевье, и стволы.

Раскладывая свою «наследственную» централку, а потом заложив пулевые патроны и снова собирая ее, Василий Иванович не забывал поглядывать туда, на большое, темное...

Обтаявший в берлоге медведь, грозно следя за собакой, поворачивал тяжелую башку за Айной, оплывавшей его с неистовым лаем и визгом. Не хотел он вставать. Он знал, что по такому снегу податься некуда. Он лишь ворчал, словно прося Айну отстать. Об охотнике он и не подозревал...

Дым выстрела на морозе скрыл зверя лишь на какую-то секунду. И Сенин увидел, как медведь рванулся из берлоги. И понял Василий, как огромен зверь! Но руки знали свое дело: едва бурая голова повернулась широким лбом прямо к охотнику — мушка разом пришлась между глаз медведя, и палец нажал второй спуск... Тик! — клюнула осечка...

А зверь, то вздымаясь на наст, то грузно ухаясь с треском и шорохом в провал, пытался лезть на охотника... Вот когда проклял Василий бессовестного Сашку, присвоившего доброе ружье!

И был бы Василию конец, если бы не наст, который хорошо держал человека на лыжах, но не поднимал многопудового зверя и не давал ему хода.

Василий повернул лыжи и пустился прочь, а тяжело раненный медведь понял свою беспомощность в грубом, льдистом снегу и побрел в сторону по громыхающему насту, оставляя за собой кровавый ров.

Айна с исступленным лаем наседала на зверя, не решаясь в него вцепиться.

Охотник, опомнясь, заторопился перезарядить ружье (еще одна пуля была в запасе). Клеши, винт, жестянки, бечевки... А руки от спешки и волнения невольно тряслись... Наконец — все! Догонять!

Он настиг медведя в узком мысу ельника, высунувшегося в болото. Дав зверю отойти на чистое шагов на пятьдесят, Сенин забежал сбоку, поравнялся, остановился, приложился... Тик! Тик! — обе осечки. Взяв курки снова, Василий опять поравнялся со зверем... Тик!.. Тик!.. Он чуть не швырнул в медведя проклятое ружье!

В ярости, в отчаянии он решил еще раз разложить ружье, чтобы повернуть патроны вокруг их осей: может быть, бойки, бьющие не в центр пистонов, разобьют их с других краев. Пока Сенин возился с этим, медведь добрался до куртины корявого болотного сосняка и скрылся в ней...

Закончив канитель с ружьем, Сенин подкатил к убежищу зверя, где остервенело лаяла Айна... Залег! Здорово же ему попало, когда ружье выстрелило!

Медведь не подпустил человека и опять занырял по снегу, пробивая себе дорогу с еще большим трудом. Догнать — было делом минуты... И опять тикнули оба курка. Потеряв голову от злости и обиды, Василий стал на ходу взводить курки и щелкать ими, прикладываясь в зверя. И вдруг ахнул выстрел, и кое-как нацеленная пуля ударила в пах, сорвав клоч шерсти. Медведь рывкнул, рванулся было к охотнику, но, чувствуя свое бессилие, вновь завернул к лесу.

Из последнего пулевого патрона выстрела так и

не. получилось, и Сенин — делать нечего! — поворотил к деревне. Нужно было взять еще пуль, а еще важнее — попросить у Александра ружье (в сущности, свое); оно у брата годами висело на стенке без дела.

Побежал бы во весь дух, а снег на солнце начал подлипать, и чем дальше, тем хуже. Подходя к деревне, Василий едва тащил лыжи: под каждой снега нарастало чуть не по пуду.

Лишь к обеду приплелся он в Заозерье и, не заглянув домой, — скорее к брату:

— Сашка, дай ружья на час.

Александр хлебал щи. Он положил ложку на стол и уставился на брата:

— Да что у тебя, Васька, стряслось?

Пришлось рассказать ему все, обещать мяса:

— Хорошую долю дам!

Александр, подумав, рассудил:

— Раненый медведь — страшное дело. Нужно вдвоем идти. Так и быть, выручу. (Трус Сашка ни за что не пошел бы, да смекнул, что сейчас безопасно, коли наст не держит зверя.)

Василий тут же побежал бы в лес, но снег развезло — на лыжах шагу не ступишь.

— Ничего! — успокаивал его Александр. — Никуда наш медведь не денется. Утром по морозцу доберем!

Василий заготовил пулевые патроны и себе, и брату. Ведь Сашка и патрона-то путно снарядить не умел. Пока возился с этим да покуда сена на колхозный двор навозил — глядишь, и вечер. Лег спать на печку.

Долго не мог заснуть, раздраженно думая о жене: «Еще и зудит: зачем ружье Сашке отдал. Чем зло поминать, лучше бы не мешала другое купить. А то лишь скулит: много денег пропиваешь, ребятам на сапоги, на рубахи нету. Не поймет, куда, что с настоящим ружьем и рубахи скорее будут...»

Плохо ему спалось: ведь с вечера небо накрыло тучами, застынет ли к утру? В два часа ночи вышел на крыльцо глядеть погоду и вздохнул с облегчением. Вызвездило, и лужа на дороге подернулась льдом. Будет ход на лыжах!

К рассвету братья уже пришли на Курлинский Мох. Проверили след, обложили островину: выхода

нет. Осторожно полезли в чащу мелкого ельника, засевшего под редкими старыми елями... Медленно стали продвигаться, вглядываясь в буреломины и валежины, не таится ли зверь. Василий шагал впереди, держа наготове свою раскладную централку. У Александра ружье тоже было в руках, но он не рвался вперед: милее отстать шагов на двадцать.

Василий задержался над умятой в снегу кровавой ямой. Здесь медведь лежал...

— Ты чего? — остановившись поодаль, шепотом спросил Александр.

— Да след вправо свернул, назад пошел.

Глянул Александр вправо и обмер: шагах в пятнадцать между двумя пышными елочками высунулась бурая медвежья голова, темно и резко выделяясь на снегу. Она не шевелилась...

Придя в себя, Александр заметил остекленевший мутный глаз... Понял: «Неживой». Прицелился и всадил пулю зверю в висок.

Подбежал Василий, даже засмеялся от радости.

А Сашка хвастал:

— Вот как надо! Зараз кончил! Не то, что ты!

Веселый Василий не стал спорить с нахалом. Чего говорить, когда медведь совсем застыл!

Пока наст не распустило, побежали охотники в деревню. А там, не мешкая, скорей на колхозную конюшню, запрягли серую кобылу (она смирней всех).

К Курлинскому Мху подъехали дорогой. Кобылу выпрягли и привязали к березе, а в сани впряглись сами: лошадь-то на лыжи не поставишь! На себе везли тушу к дороге...

В одиннадцать часов вся деревня сошлась дивиться на медведя, которого свалили у колхозного гумна. Свешали тушу: оказалось, двести два килограмма.

Пообедав, братья вернулись к гумну, где народ уже разошелся. Живой рукой скинули со зверя темно-бурую шубу, выпотрошили. Осмотрели раны: первая Васильева пуля прошла по ребрам навывлет, а вторая, ударясь в бедро, срикошетила в живот и осколками изорвала кишки. Сашкина пуля в виске, разумеется, была ни к чему, но он твердил свое:

— Кабы не я, пришлось бы повозиться! Дал бы нам жизни этакий зверина!

— Да что ты пустое болтаешь, Сашка! Стрелял ты в закоченного зверя. Дал бы жизни, дал бы жизни! Мертвый! Не треплись ты зря!

Но Александр стоял на своем...

Наконец Василий только плюнул: черт, мол, с тобой!

Стали рубить мясо. Перво-наперво развалили тушу пополам по хребту. Александр похвалил мясо:

— Гляди-ка, еще и сала маленько есть. Ну, Вася, теперь кинем жребий: кому правая половина достанется, тому и голова, а кому левая — тому и ливер.

Василий опешил:

— Ты на целую половину заришься?

— А как же? Мой выстрел главный.

Сашка увидел, как ходуном заходил топор в братовой руке...

VI

— Ну и чем же кончился дележ? — спросил я Сенина, который поведал мне историю про медведя «в настах».

Мы с ним полеживали на сене в лесном амбаре, куда забрались переждать дождь. У ворот амбара, конечно под крышей, на охапке сена лежали мои гончие Гобой и Флейта, на всякий случай привязанные к столбу сворками.

— Чем? Да ничем особенным... — Василий Иванович взял мою бескурковую тулку и векинул к плечу (ружье, разумеется, было разряжено).

— А прикладиста! — сказал он. Он мечтал о бескурковке: у самого была теперь добротная курковая тулка недавнего выпуска.

— Чем? — повторил он. — Зарубил бы я Сашку в тот раз, да, спасибо, Настя, жена, вовремя набежала, из рук топор вырвала...

— Из-за мяса брата убил бы? — охнул я.

— При чем тут мясо! — он с отвращением поморщился. — Не за мясо — за подлость!

Все же любопытно было мне, как же, в конце концов, завершилось это дело. И я спросил:

— Так и забрал Александр полтуши?

— Да нет... — нехотя протянул Сенин. — Поменьше... Сашка-то с испугу тогда убежал... Да и я ушел... Наши бабы как-то там без нас поладили.



В ноябре сорок четвертого года Иван Чернов отправился домой из госпиталя, где оставил левую руку по самое плечо.

С кузова попутной машины, на которой солдат ехал со станции, жадно глядел он на родную степную ширь. Светло и смело зеленели яркие озими, густо чернели исчерченные бороздами широкие полосы взмёта, тускло желтела выбитая скотом стерня, попадались лоскуты снятого подсолнуха, ошестинившиеся будылями срезанных стеблей.

Но много полей заросло седым полыньком да темно-бурыми бурьянами.

Исход войны был ясен каждому, но много еще жертв брала она и тяжело чувствовалась везде, даже в этой степной глуши, оторванной от фронтов на многие сотни километров.

Сердце крестьянина-колхозника сжималось от досады и жалости при виде новых пустырей, которые вдвое увеличили площадь порожних земель вдобавок к старым целинам и залежам. Но где-то в потайном уголке этого сердца под сурдинку шевельнулась радость страстного борзятника: обширны стали пристанища зверю, много, небось, развелось и русака, и лисы!

*

Тех, которым, как Чернову, перевалило за сорок, призывали не сразу. Они в страду первого военного года еще поработали в колхозе и за себя, и за два-

дцатилетних с тридцатилетними. Не щадя сил, делали они мужичью работу за двоих да за троих и не дали урожаю пропасть.

И осенью в родном селе Покровском Ивану хватало дел по горло: отгрузка зерна на элеватор, возка сена из степных стогов... Приходилось пасти колхозные стада, гонять гурты на заготпункт. Да всего и не перечтешь.

А все же, хоть изредка, да урывались на охоту дружки Иван Чернов и Дмитрий Романов. Маловато пришлось тешиться, зато красиво: уж больно добры собаки были у них напоследок. У Ивана четвертую осень ловила белая черноухая Пулька хортой породы, а у Дмитрия подоспел к осенним полям полуторагодовалый Пулькин сын черный Полет.

Не сразу добились друзья отличных борзых. Много денег перевели — все покупали хваленое. А оно оказывалось либо тупицами, либо и еще похуже. Раз нарывались на кобеля: ловил он лихо и русака, и лисицу, резв был, что мысль! Да только с ним, пока скот в полях, лучше и не думай выйти в степь. Лишь завидит стадо — полетит, и раз — овечку за горло! Хотя и хорошие кони были в колхозе, да как ни мчись борзятник, разве угонишься за борзой? Сколько же раз Иван с Дмитрием вытряхивали свои кошельки пастухам!

А попробуй этого Колпика плетью учить — заест! Пристрелили кобеля...

А то отвалили кучу денег за крымачку. Резвость имела, да не ловила. Бывало, не говоря про русака, и лисицу-то догнать догонит, а потом бьет, бьет на угонках, крутит, крутит — и счету нет поворотам, а зверь тянет да тянет — да и шмыг в нору! Вот тебе и охота! А ведь и пособник у нее был — кобелек трех лет, туповат малость, но к ее угонкам попевал. Сам, бывало, повернет раз, другой — тут бы ей и поймать, да куда там! Нацелится, нацелится — мах! — мимо. Еще — опять; думаешь, точно целит, и опять мимо!.. Продали обоих.

Мучились, доставали, а толку не было, и поняли: беззаветного ловца не купишь! Такие бывают лишь у настоящих, заядлых борзятников, а разве настоящий продаст свою утеху, свою великую радость? Да ни за что на свете!

Наконец съездили за полста километров, купили в одном селе белую красноухую хортячку Норку. В большой славе была сука, да лошадь ей левую переднюю ногу перешибла. Кость срослась, но той скачки уж не быть. Только из-за этого продал Норку борзятник.

А друзья взяли для завода. Ну и не ошиблись. Поставили ее со знаменитым резвачом, и вышло ладно. Иван из щенков себе выбрал Пульку, шерстью белая в мать, да и всем в нее: резвая, поимистая, неутомимая.

А от Пульки Дмитрий взял черного кобелька Полета. Отец у него был не хортый, а наполовину псовой породы. Этот Порхай резво ловил, и к красному зверю злобы у него много было.

Ехал Иван Телегинскими полями. Вон в той ложине в последний раз с Дмитрием трювили. Русак матерой попался, да больно строгий — метров за сто вскочил, может, потому, что борзятники ехали в это время по ветру и высокая стерня шуршала.

Заложилась зоркая Пулька, спела к русаку истинно что пуля. А русак, уже побелевший, махал прыжками чуть не по три метра, но все равно сука уверенно подбиралась к нему.

А Полет сперва за бурьяном проглядел, поскакал по матери позади. Но как выскочил заяц на чистое, как пометил его кобель — наддал, живо стал равняться с Пулькой.

Под Дмитрием гнедая кобыла неслась как ветер, а он все сечет ее плетью да товарищу орет: «Видал щенка?»

Пулька дала русаку угонку, а Полет быстрее матери справился на повороте, глазом не моргнуть, накрыл и потащил русачину!

Вот так собака!

Домой ехали веселые, по паре русаков к седлам приторочены, а дорожке всего, — молодой очень уж порадовал.

А через три дня — в военкомат. Отправились, не унывали: «Побьем Гитлера — на будущий год во как поохотимся с такими борзыми!»

Дмитрий Полета поручил жене: «Береги пуще глаза!»

А Иван уже несколько лет жил вдовцом. Только дочка, четырнадцатилетняя Валя, — вот и вся семья. Валя уже привыкла быть за хозяйку: она сквозь елзы обещала отцу: «Пульку кормить буду...»

Но нельзя же такой девочке жить одной в пустом доме. Попросил Иван сестру — приютила Валю. А как-то будет Пульке в чужом дворе?

И уехали воевать — авось, не надолго!.. Но пришлось Ивану на фронтах да в госпиталях целых три года бедовать, а Дмитрий навеки остался в украинской земле...

*

Прибыл Иван с войны, пожил у сестры день-другой, осмотрелся, да и перебрались отец и дочь в свою хату. Вале уже семнадцать стало, такой хозяйство уж совсем по плечу.

«Хорошо, что дочка есть, — думал Иван. — Жаль только, что Пульку не сохранила».

А Пулька без хозяина на чужом хлебе не больно-то была кормлена да ухожена. Повадилась ходить в степь одна, ну и пропала...

— Эх, дочка! Была бы у нас с тобой Пулька, ходил бы я на охоту, кормил бы тебя зайцами...

— Нет, папа. Ты сам говорил, что борзая после шести лет не ловец. А Пульке ведь восьмой год уж.

— Твоя правда, — согласился отец. — А как Романовы живут, как теперь Ольга с делами справляется?

— Тетя Оля совсем одна осталась. Юрка летом в армию ушел, а Нина санитаркой на войну попросилась — взяли. Ей ведь уже двадцатый год. Трудно тете Оле. На дядю Дмитрия похоронная прислана, а она все не верит, ждет...

— А Полет у нее цел?

— Цел. С ним Юрка в прошлом году много зайцев ловил, даже трех лис принес.

Под вечер пошел Иван к вдове своего друга на дальний конец Покровского, протянувшегося километра на два. И вот она, белоснежная саманная хата, где они с другом Митей не раз справляли свои охотничьи победы.

— Здравствуй, Оля!

— Здравствуй, Ваня. А я тебя все поджидала. Так и знала, что скоро придешь.

Залюбовался Иван чистотой, порядком в доме. Как была Ольга заботница, так и осталась. И трудно одной, а все равно держится!

А она захлопотала: самовар, яичница, селедка. Нашлась и бутылочка.

— Вон ты какая богачка! — шутил гость.

А у хозяйки слезы так и текли по щекам: Иван вот вернулся, а Мити нет...

Выпили по случаю возвращения воина. А повторно налила Ольга за то, чтобы и другой пришел...

«Эх, как переменялась баба!» — думал Иван, глядя на седину в темных волосах, зачесанных на прямой пробор, на морщины, на горькие складки около рта... Только карие глаза Ольгины остались прежние — и быстрые и суровые, и румянец еще не угас. «Изменилась, конечно, а все хороша!»

— Что, Ваня, уставился? Глаза красные? Как узнала, что ты в село приехал, всю ночь проплакала: ты вернулся, а его нет!..

Он понимал, каких слов хотелось ей, и не хватило духу сказать правду, сказать, что думал в эту минуту сам.

— Чего расстраиваться, Оля? Война держит. Мало ли бывает! Может, и вернется еще! Что думать да толковать все про одно!

Заговорили о колхозе, о том, что Ивану в счетоводы надо становиться — больше-то некому: о том, как худо одним женщинам: поля вот приходится бросать, все не осилить...

Иван пошутил:

— Зато бурьянов, сорбв в полях много, зверю притон хороший. А у тебя, Оля, Полет, я слышал, жив-здоров?

— Один борзак на все село остался, — с гордостью отозвалась хозяйка. — Митя Полета уж очень любил, вселел сохранять. Сохраняю! Да и больно мила собака: смирный, ласковый, и оставь его в хате одного — ничего на столе не тронет. А ведь что ему? Подошел да голову на стол сунул — все в его власти...

— А где же он у тебя? Возле хаты что-то не видеть.

— На задворках где-нибудь. Кликну — мигом явится.

Они вышли на улицу, не одеваясь.

— Полет! Полет! — звонко позвала женщина.

Из заулка вылетел, горбясь на скаку, черный красавец. Иван даже засмеялся: до чего силен стал кобель, до чего складен! А Полет завилял, заюлил около хозяйки, ощерясь в радостной улыбке и еще плотнее прижимая и без того крепко притянутые к шее маленькие уши.

— Что за Полет! Молодец, хозяйка! Сберегла — так уж сберегла! — хвалил Иван. — Только, Ольга Федоровна, давай скорей в дом, а то простынешь. Время-то ведь — не лето!

— Простужусь — помру. Туда и дорога. Что мне жить без Мити!

«Эх, пожила бы ты для меня!» — подумал Иван, но ведь не скажешь так.

— Ну что ты только молвила! Подумай, у тебя дети есть!

— Дети то ли вернутся, то ли нет. А и уцелеют, так свои семьи заведут — на что я им, старуха? Куда я без Мити...

И она опять заплакала.

— Ольга ты, Ольга! А как вернется Дмитрий, так что же... ему тебя на кладбище искать?

Сказал, а у самого на душе нехорошо стало: «За чем обманываю?»

— Ну, полно плакать! Давай скорей в тепло.

Пошли в хату. Ольга позвала с собой и Полета.

Он долго обнюхивал Ивановы колени, руку и тихонько повиливал хвостом, свернутым на конце в колечко («Как у Пульки», — подумалось Ивану).

— Никак признал? — спросил борзятник у собаки и положил руку на узкую длинную голову, блестящую своей чернотой.

Полет не уклонился от ласки, и Ольга порадовалась:

— Понял друга! На, Иван, дай ему пирога...

Охотник гладил и угощал борзую.

— Оля! Разреши мне с Полетом сходить в степь. Ему только польза, коли зверя погоняет. Глядишь, тебе русака принесем.

— На что мне твой русак! Возьми собаку, да смотри, чтобы вреда ему не приключилось.

Посидели, побеседовали, условились: послезавтра Иван пойдет с Полетом, лишь бы погода поддержала. А на следующий день Чернов побывал у Романовой опять: Полета к себе приваживал, приучал. Да и к Полетовой хозяйке влекло. Вот бы с кем жизнь устроить!

На первый раз Иван повел борзого в ближние поля, на небольшое время. Не втянут кобель, как бы не подорвать собаку!

Вышли, как только рассвело. Иван вел Полета на сворке и все любовался его стройностью, тонкой, сухой мордой, большими умными глазами, которые зорко наблюдали за всем вокруг.

Спуская Полета с ремня, Иван опасался: а ну как сбежит домой? Но кобель, поскакав, поиграв кругом борзятника, побежал по озими вперед... Километра два прошли они зелеными, пока шагах в тридцати перед Иваном пыхнул русак. Полет рыскал в стороне и в этот момент проверял кучку перекастихи, согнанную ветром под рубеж.

Но лишь борзятник крикнул: «Ту его!» — как Полет мгновенно пометил цвёлого русака, беловатым комком летевшего по озими. Со всех ног рванулся он впоперечь. Русак неся во всю мочь, круто заворачивая влево, но борзой настигал...

Иван бежал по полю за травлей, забыв на радостях про висевший на боку немецкий полевой бинокль (единственный свой трофей).

Как это всегда бывает, когда борзая достает зверя, наступил тот непередаваемый, неуловимый момент, в который приближение собаки становится для него невыносимо страшным. Зверь неизбежно должен сделать что-то, чтобы избавиться от того страшного, что нависло над ним. Это «что-то» и есть мгновенная более или менее крутая перемена зверем направления бега от легкого «повиха» до поворота назад, то есть, на языке борзятников, угонка.

Заяц метнулся влево под прямым углом, и черный преследователь пронёсся мимо, но справился он так быстро, что русак не оторвался более чем на двадцать метров. Кобель опять навис над зайцем, молниенос-

ным броском покрыл просвет между собою и зверем — и потащил...

Немногие борзые ловят в одиночку, без хотя бы туповатого помощника, а Полет заловил крупного русака так просто, словно это ему ничего не стоило.

Иван был в восторге. Сел он на рубеж, закурил. Полет лег, отдышался. Подвязал охотник добычу на ремешок, закинул за спину. Еще веселее стало идти. Большая радость далась солдату!

В самом конце озимого поля, недалеко от охотника и собаки поднялся второй русак. Черным вихрем рванулся за ним Полет, а заяц за краем зеленой кинулся в такой густой бурьян, что кобель лишь по какой-то удивительной догадке, встречающейся у борзых, не потерял направление. Но резвости все же поубавил.

Иван жадно следил в бинокль, как русак светлым пятном выскочил на чистое и успел порядочно оторваться от бурьянов, когда показался из них Полет и, взяв зверя на глазок, нагнал, как только мог.

Заяц тем временем добрался до дороги и покатила по гладко наезженной, подмороженной колее.

Но и тут хортый не уступил, и просвет между ним и зайцем быстро уменьшался. Русак вильнул в полосу убранного подсолнуха и скрылся в будылях... «Ох, напорется кобель!» — испугался Иван, но тут же увидел, что в будылях черное остановилось, а затем Полет повернул и разочарованной рысцой побежал назад, к охотнику.

Русак ушел, но разве без этого бывает охота? И в этот раз Полет скакал на диво. Приласкал его Иван, отдохнули — и домой. Хватит.

Привел Чернов собаку Ольге и русака ей подарил, как ни отказывалась. Расхвалил ей Полета — чудо, а не собака! А сам думал: «Эх, Ольга, ты, Ольга! Вдова ты горькая!.. А и сам-то я разве не горький?..»

Глядел на строгие глаза и знал: «Не посватаешься. Ждет. Как осмелиться правду ей выложить?»

...И еще, и еще травил он с Полетом. Сильный хортяк вошел в работу и мог выдерживать охоту целыми днями. Похудел, конечно, черные мяса так и бугрились под кожей, что из железа кованые. Стали перепадать пороши, а по белой тропе травля еще красивей...

Каждый раз, когда заходил к Ольге, Иван все больше заглядывался на нее, и дома с Валею заговаривал: хорошая, мол, женщина! А дочка отмалчивалась, понимала (шила в мешке не утаишь).

Пятого декабря, в третью годовщину последней охоты с другом Дмитрием, Иван отправился подальше — на Телегинские поля. Километров десять проехали они с Полетом на попутной машине да еще пять отшагали дорогой и свернули в поле, где под ровной белизной лежала озимь. Вот и малик. Крупный след потянулся на стерню с озими, с зелено темневших в снегу разрытых пятен — русачьих жировок.

Дошли до двойки... вот сметка... снова двойка... Заяц где-то близко... Лишь бы не удрал спать вон в ту балку с кустами, там побудится — не увидишь!

Русак поднялся в кочках, всего шагах в двадцати от борзятника... «Ту его!..» Полет увидел зайца с другого берега лощины. Пока пересекал ее, зверь мчался уже в сотне метров и стегал по залежи, мелькая меж полынков и кустиков бурьяна. Резвый кобель скакал со всем пылом, но ясно было, что ему не успеть взять русака до заросшего кустами отвершка... Так и есть! Русак исчез, когда Полет уже готов был дать ему угонку. Скрылась в овражке и фигура борзого.

Иван заторопился туда и на бегу увидел, как черный кобель появился за овражком, резко выделяясь на пелене снега. Не видя там русака, Полет вернулся назад, в овражек.

В этот момент охотник приостановился и, приложив к глазам бинокль, увидел прежде всего большую серую овчарку, как будто гнавшуюся за Полетом. Черное и серое скрылись в кустах овражка... Погрызутся!

Иван побежал во всю мочь, размахивая с единственной рукой с зажатым в кулаке биноклем. Он уже подбегал к месту, где должен был выскочить из кустов Полет, и вдруг услышал в чаще грызню и страшный, ревущий визг собаки... Задыхаясь от бега, Иван достиг края и сквозь голый прутняк увидел, как огромная овчарка треплет что-то черное... Полета!.. Волк!..

Борзятник рвался сквозь густые кусты, едва продвигаясь вперед и крича:

— Полет! Полет! Полет!..

Волк, схватив слабо дергавшееся тело за шею, прыгнул, тянул Полета сквозь кусты. Но человек был уже рядом, в бок зверя ударило что-то блестящее (Иван швырнул в него биноклем), и, бросив добычу, волк пропал в кустах.

От страшного напряжения у Ивана неистово колотилось сердце, подкашивались ноги. Едва добравшись до черного, он повалился на окровавленный снег... Иван лежал ничком, почти потеряв сознание, дышал, дышал, уткнувшись в рукав единственной руки... Когда пришел в себя, рядом увидел Полета. Дыхание собаки было прерывисто и хрипло, в широкой ране на горле пузырилась кровь... разрывы зияли на ребрах, на ляжке...

Чернов сбросил ватник, суконную гимнастерку, нижнюю рубашку... Вновь надел ватник и рукой и зубами разодрал рубашку на ленты. Долго бился, бинтуя собаку, — трудно удавалось это с одной рукой. Обмотал шею, подложив под бинт на истерзанное горло втрое сложенный рукав рубахи. Перевязал и другие раны.

Нести собаку до дому нечего было и думать. Надо хоть подтащить к дороге, видневшейся в километре. Полет еще дышал, но глаза у него закатились, и он лишь слабо поводил ногами.

Связав из обрывков рубахи большую петлю, Чернов подвел ее под перед Полета, надел лямку себе на шею и, подхватив рукой зад собаки, понес ее. Груз был тяжел, но, главное, очень удобен. Иван вынес Полета из кустов, прошел с ним метров триста и совсем обессилел. Он положил черное тело на землю. И тут услышал гул машины на дороге со стороны Телегина. Укрыв Полета гимнастеркой, которая была сунута за пазуху, Иван пустился к грейдеру. Бежать не мог, старался хоть идти побыстрее.

Когда из-за бугра показалась полуторка, он все же побежал, махая шапкой:

— Стой! Стой!

На порожней машине ехал шофер, хромой Петя, свой, покровский. Он узнал Чернова, остановился. Иван, подойдя к машине едва мог выговорить:

— Полета... Волк...

Полем подъехали к Полету. Он уже не дышал. Но

не бросить же его здесь волку! Положили в кузов. Туда взобрался и Иван. Всю дорогу до самого Покровского он сидел в оцепенении, машинально придерживая Полета, чтобы его не кидало и не било на неровностях пути. В своем отчаянии он едва мог подумать: что же теперь сказать Ольге? Разве уверишь, что не виноват?

Мучительно старался Чернов собраться с мыслями, что-то решить, но ничего, ничего не выходило...

Слезы текли по лицу, он не вытирал их, не замечал...

В селе — прямо к Романовскому дому. Сняли труп, положили у крыльца.

— Спасибо, Петя! Извини — измарал тебе машину кровью!

— Да что ты, дядя Иван! Такое дело, а ты извиняешься! Отмоется!

Машина уехала, а Иван стоял над мертвой собакой и никак не мог заставить себя войти в дом.

На крыльцо вышла Ольга поглядеть, что за машина остановилась? Увидела Ивана, сгорбленного, понуро стоящего над Полетом, обмотанным кровавыми тряпками...

— Ой! Что это? Что это? Под машину попал? — она подбежала, упала на колени около собаки:

— Полетушка! Полетушка!.. — Она гладила короткую черную шерсть, пачкая руку в крови... И вдруг поняла: мертвый!

— Иван! Иван! — причитала женщина, рыдая: — Что ты наделал! Что наделал!.. Что же я Мите скажу, как вернется?.. Как теперь в глаза ему погляжу?..

И опять душили ее рыдания.

— Не вернется... — вырвалось у Ивана.

Рыдания оборвались. Женщина встала с мокрым от слез, перекошенным лицом.

— Ты знаешь?

— Сам видел... — еле слышно отозвался Иван.

Она пошла мимо него к крыльцу, бросив только:

— Уходи!

Столько было в этом слове обиды и гнева! Будто женщина гораздо больше, чем в смерти Полета, обвиняла Ивана в гибели ее Дмитрия... в потере надежды — еле мерцающей, но все-таки надежды.

Один глухарь

На выставке охотничьих собак с блеском выступил черный пойнтер Валерия Михалева Хват. Красота, дипломы первой степени на испытаниях, да еще выставочные и полевые успехи детей вывели его в чемпионы (на наших выставках учитывается качество потомства претендента в чемпионы).

Ну, конечно, началось сватовство. Познакомился с Михалевым и Игорь Агатов, владелец трехлетней черно-пегой Мирты. Ей уж давно бы пора иметь потомство, а тут такой жених! Знакомство пойнтеристов завязалось, стало крепнуть.

Сутулый, светловолосый и слегка скуластый Валерий, кроме высокого роста, ничем не походил на стройного смуглого Игоря с его цыганскими черными глазами и тонким правильным носом. Непохожи были и характеры. Мягкий, застенчивый Михалев больше всего интересовался птицами (он «шел по научной линии» на одной из биологических кафедр университета). А Игорь Андреевич Агатов при всей своей молодости (знакомцам было примерно по тридцати) уже сидел в кресле главного инженера стройтреста: видно, умел человек дело делать да и собственную карьеру не забыть.

Пусть очень разные были эти люди, но какие только противоположности не сходятся на страсти к охоте, к собакам! Как фанатики одной религии и как подлинные художники, они могли часами обсуждать и смаковать красоту прута (то есть хвоста) какого-нибудь знаменитого Чока, стиль стойки не менее славной Азы или корни родословной основателя знатной линии пойнтеров, скажем, некоего Валдай-Джека.

Брак Хвата и Мирты предстоял зимой, а пока новые приятели собрались вместе на летнюю охоту. Отпуска им удалось подогнать день в день. Михалев зазвал Агатова в свои места — в приокскую пойму. Там по болотинкам у озерков держался бекас, а на мокрых лугах попадался и дупель. Агатов мечтал пострелять

и уток: уж больно аккуратно его Мирта подавала с воды. Поехали, охотились удачно...

Когда поубыло болотной птицы, охотники повадились в поля припойменных колхозов — перепелов там хватало.

Обычно Михалев и Агатов охотились порознь, но иногда, ради особой красоты, ходили вместе, с обеими собаками. Хват и Мирта сдружились и отлично секундировали. Прекрасны были совместные стойки, когда оба пойнтера замирали в страстном напряжении. Рослый, мужественный Хват как-то весь подбирался, подняв гордую голову, а легкая, изящная Мирта, припадая на передние ноги и вытягивая шею и голову вперед, казалась необыкновенно женственной.

На совместных охотах стрелял больше Агатов. Он как-то все оказывался впереди, все ближе к собакам. Но Валерий не был в претензии: Игорь — гость, а у гостя особые права.

Когда Михалев собрался в Москву, Агатов задержался еще на два дня.

— Нужно, Валерий Ильич, места освоить, чтобы в будущем году чувствовать себя здесь хозяином. Бекасов попугаю, озерки поутятистей поищу.

«Чувствовать себя хозяином» задело Валерия, но он ответил радушно:

— Что ж, попрактикуйтесь по бекасам, осваивайте. Ни пуха ни пера!

Он тоже мог бы побыть на пойме эти два дня, чтобы потом ехать скорым поездом вместе с Агатовым, но не хотелось Михалеву, не в силах был он упустить радость лишней раз полюбоваться с теплохода Окой в ее нижнем течении.

Плыл Валерий и все глядел, глядел, как огромная водная лента то голубеет, то под тучами становится серой, то сверкает солнечными бликами. Глядел он, как река изгибается могучими поворотами до того спокойно и просто, что, думалось ему, ничего нет просторнее и свободнее вот этих окских ширей, а главное, нет на свете другой реки, такой же русской! Никаких резких черт! Мощна водная гладь, обширна пойма, мягко переходящая в надпойменную возвышенность, где покрытую лесом, уже по-сентябрьски

зазолотившимся, а где и тускло желтеющую озимым жнивьем да еще не убранными яровыми...

В феврале у Мирты родились пятеро пойнтерят от Хвата, в марте они разошлись по рукам, разъехались по белу свету. Пока Мирта заботливо выкармливала их, Михалев наезжал к Агатовым полюбоваться щенками. Его жена Ира тоже однажды отправилась поглядеть на маленьких, забрав с собой и собственного малыша — годовалого обожаемого Ванечку.

Эльвира Ефимовна Агатова, супруга Игоря Андреевича, слишком уж старалась удивить гостью утонченной сервировкой чайного стола (посуда заграничная!), слишком уж длинны и черны были у нее ресницы и грандиозна прическа-башня, чтобы она могла понравиться Ире — «клушке» (как не без гордости называл ее муж). К тому же Эльвира, по мнению Ирины, как-то приторно восхищалась ее розовым и голубоглазым сыночком. Впрочем, Агатова занималась им недолго и стала щбетать о своей работе в «системе кино» (не уточняя, что же это за работа), явно любясь этими многозначительными словами.

Даже щенки, милейшие существа с их трогательно наивными, лишь недавно открывшимися глазами, не так порадовали Иру, как могли бы. Словом, знакомства у женщин не получилось. Ну, а мужчины продолжали встречаться и наслаждаться беседами о выставках, чемпионах, об окских бекасах...

Долг платежом красен: на весеннюю охоту, на глухариный ток Агатов пригласил Михалева, как он выразился, «в свою вотчину», в леса, которыми правил его отец, старший лесничий лесхоза. Старик жил вдвоем с женой в лесном поселке в собственном домике. Из-за ревматизма он почти бросил охоту...

Игорь сумел устроить себе длительную весеннюю командировку, выкроил целых полторы недели перед майскими праздниками и забрался в отцовы леса. Михалев располагал всего четырьмя днями — 1 и 2 мая, да смежные с ними суббота и воскресенье.

Игорь встретил гостя невесело:

— Не повезло! Жуков ток как раз захватила лесосека — всю зиму лес вадили, на тракторах возили.

Ток переместился, а куда — черт его знает. Не нашел я. Придется Самокатовским пробавляться. Эх, жалко! На Жуковом петухов верный десяток, а то и побольше, а тут, на Самокатове, дай бог, чтобы хоть пяток был! Самокатово я проверил — глухаришки есть. Признаться, одного взял.

Валерий не унывал:

— А еще по одному найдем? Только, чтобы не последних!

— Одного-то, разумеется, возьмете. И резерв есть. Я там пару молчунов согнал — это молодые, к будущему году пойдут.

— А тяга?

— Ну, тяга-то есть, конечно, да что вальдшнеп! Вот глухарь — это штука, это — да!

В разговор вмешался старый Агатов:

— Никак ты, Игорек, стал добычу на вес ценить? А по-моему, хорошая тяга стоит любого тока. Мы с гостем сходим на Крутик, вечерних дроздов послушаем, вальдшнепиным хорканьем насладимся, в небо попадим!

— Ну еще бы! Без тяги и весна не весна! — поддерживал Валерий. Ему очень хотелось поближе познакомиться со стариком лесничим — человеком таким простым и милым.

После московской суеты Михалев блаженствовал. День сиял солнечный, теплый и тихий. Небо светило так ласково и спокойно, словно не было лишь месяц назад трескучих морозов и лютых метелей, словно не выпадал еще позавчера густой мокрый снег. По голубой равнине белоснежные облачка брели медленно-медленно, — да и куда им торопиться?..

Охотники пошли, когда день стал склоняться к вечеру.

Километра три шли дорогой по полям с перелесками, а еще три — лесным массивом, квартальными просеками.

Плескалась на дороге грязь, хрустел недотаявший ледок с навозом, лужи и разливы сверкали под катящимся книзу солнцем. Благоухала талая земля, из леса неслись запахи прелой листвы и багульника, оживающего на мшаринах. В канавах бурлили во-скресшие лягушки. Синевя над полями журчала зве-

нящими трелями жавороночьих песен. А в лесу гремели развеселые зяблики, пеночки ласково и старательно выводили свои нежные и как будто закругленные песенки... Хорошо весной идти на ток!

Свернули с просека, пересекли словую гриву, вышли к болоту.

— Вот оно — Самокатово. Ночуем здесь на краю, — решил Игорь.

Развели два костра для «лежанок». Когда дрова прогорели, жар и золу размели и на горячую землю настелили елового лапника. Под большой старой елью сложили рюкзаки. А солнце-то уже совсем низко. Пора на подслух!

Глухари на Самокатовс токовали на крупных соснах и елях по островинам среди мохового болота с низкорослым корявым сосняком. Игорь повел товарища в южную часть тока чуть заметной стежкой, полузаросшей молодым мелким ельничком. Тропа то выскакивала на край леса к болоту, то пряталась за стеной старых огромных хвойных деревьев.

Шли охотники этой дорожкой с полкилометра на юг, а потом свернули вправо, в мох, и болотом перебрались на островок с несколькими десятками крупных сосен. Валерий остался здесь, а Игорь возвратился к кострам. Там он спустился в то же болото и перешел на остров метрах в трехстах от берега и чуть поужнее.

Валерий сидел на толстой буреломине и слушал, как дрозды роняли свои задумчивые слова с вершин леса. То слышалось меланхоличное «Разбериссь-ка в жизни, разбериссь...», то вдруг дрозд бросал бодрый призыв: «Проведем! Проведем!», то предлагал куда-то «плыть, плыть, плыть».

И возгласы эти, хотя и слышался в них грустноватый оттенок, были полны весенним торжеством.

Охотник любовался угрюмой дикостью мохового болота, от которого, казалось ему, так и веет вечностью. И думал он о том, как подходит к суровым седым мхам могучий глухарь и его неожиданная, ни на что не похожая, ни с чем не сравнимая песня, шепчущая о далеких, далеких временах...

В безветрии ясного вечера необычайно звонко прозвучали трубы журавлей, грянувшие неподалеку...

Другие протрубили где-то поодаль... откликнулись совсем далекие... А солнце уже ушло за лес, и сквозь кроны больших сосен ярко багровел закат...

Вспомнился Валерию Агатов, шевельнулось благодарное чувство: «Как любезно было с его стороны пригласить на глухарей, на эту удивительную охоту, в такие чудные места!»

Шум громоздкого глухаринного взлета прервал эти раздумья. †

Валерий достал из кармана компас... И как будто нарочно, чтобы поточнее указать направление, глухарь громко переместился на другую сосну своей островины...

Стрелка компаса отметила: север.

Глухарь «прокашлялся», заявляя о своем намерении петь... и пока притих. Начало темнеть... Валерий, прикинув, что до глухаря далековато, песню не услышишь, спустился в болото и, стараясь, чтобы под ногами не чавкало, стал подвигаться на север... И вот донеслось: «Дэб!.. Дэб!.. Дэбб... Дэбб...» — и раскатилось дробью... Вот и скирканье слышно...

Валерий остановился и радостно слушал странные и влекущие звуки... Он не хотел подходить к глухарю: до темноты не успеешь, а потом попробуй-ка отступить! Как раз подшумишь! То ли дело рассвет!

К месту ночлега Михалев явился совсем уже ночью.

А там пылал небольшой, но яркий костерок и сидел на своей «лежанке» Игорь, спокойно покуривая.

— Ну, как? Слышали что-нибудь? — спросил он, поправляя огонь палкой.

— Да подлетел один, потом перелет сделал! А как пел! Как закатывал!

— А в какой стороне от вас?

— Прямо на север. Я по компасу засек!

— Так! — процедил сквозь зубы Игорь. — А у меня была посадка с юга. Выходит, мы одного и того же глухаря слышали.

— А другие, Игорь Андреевич, у вас не подлетали?

— Налетели еще два с другой стороны, так эти не певчие. А тот здорово пел. Я тоже его наслушался.

Михалев несколько расстроился.

— Неужели в самом деле у нас на двоих только один?

— Да вы не беспокойтесь. Вы гость, ну и глухарь ваш. Кстати, я же ведь убил нынешней весной...

Нет! Валерий наотрез отказался от такой жертвы. Произошел спор, «борьба великодуший», оба охотника уступали друг другу, и обоим, конечно, было жаль себя.

Игорь предложил кинуть жребий... Целая спичка — идти к этому глухарю, половинка — искать другого. Из Игорева кулака Валерий потянул конец палочки, по своей деликатности стремясь оставить выигрышную спичку товарищу. Но он ошибся: вытянул не половинку, а целую.

Агатов рассмеялся:

— Ну вот и сама судьба на стороне гостя. И она знает, что делает: уж я-то найду себе глухаря! Я на Самокатове, как дома!

Весенняя благодатная ночь молчала, словно прислушиваясь к возрождению жизни на земле. Мудро сияли яркие звезды в черном небе. Лес был полон обаятельным запахом оттаявшей земли, прели. Дышал озоном дотаивавший снег.

Охотники лежали на лапнике, прогретом теплом кострищ. Агатов заснул, а Михалев долго не задремывал, то поправляя огонь небольшого костра, то просто наслаждаясь звуками тихой весенней ночи.

Звенели в высоте крылья невидимых уток, неся в небе мягкий и торопливый, ровный шум куличьей стаи. Вновь и вновь гремели трубы журавлей в болотах...

Валерий стал дремать, но настоящего сна не было: конечно, мешала непривычная постель, а главное, будоражила весна, такая близкая и такая полная жизнью. Радостно слушал он густой шум елей под изредка набегавшим ветром. А когда из прошумевшей стаи упали стегаящие посвисты водяных курочек, даже сердце замерло от восторженного удивления...

Волновала, конечно, и предстоящая заря с глухаринной песней, с розовым рассветом, с трепетным подходом к глухарю: «А вдруг подшумлю, сгоню?..»

Валерий поправлял огонь, ложился и забывался в дремоте... Просыпаясь, он при отсветах потухающего

костра или под лучом карманного фонарика беспокойно глядел на часы. Вот полночь... час... без четверти два... наконец, половина третьего... Михалев вдруг заметил, что сосны стали черно вырезываться на чуть посветлевшем небе... Захохотал в болоте куропат...

Проснулся и Агатов:

— Кажется, светает? Вам пора! Идите! А я полежу с четверть часика, покурю да и в поиск!

Михалев, посвечивая фонариком, нашел вчерашнюю тропу и зашагал по ней... Подумалось: придется идти на глухаря, зная, что товарищ, как бы он ни был любезен, все же если и не завидует, то хоть немного досадует. Ну да не беда! Ведь Игорь здесь в самом деле дома — найдет он себе глухаря!

Шел Валерий приятно возбужденный и непривычностью леса в чуть наметившемся рассвете, и отрешенностью от, может быть, интересной, но все же утомляющей московской повседневности. А впереди — поющий глухарь!

Шел Валерий в предзоревых сумерках и все сбивался с заглохшей и заросшей старой тропки, вновь находил ее и вновь сбивался... Это раздражало. Время не ждет, глухарь, наверное, уж давно распелся, а тут теряются и теряются драгоценные минуты!.. Рассвет действительно не ждал, становилось все светлее.

В глубине души мелькнуло даже что-то вроде озлобления: мог бы Агатов немного проводить, указать путь напрямик; ведь, по его словам, глухарь поет совсем близко от костров. А тут изволь огибать огромный крюк — идешь, идешь на юг, а потом придется, сделав болотом дугу, поворачивать на север и немало еще брести совсем назад! Но Валерий успокаивал себя и не давал сердиться — времени еще хватит! Да вот она и заломленная рябинка — примета, что пора спускаться с тропы в болото.

Охотник шел по налитым водою мхам, стараясь не шлепать и не чавкать ногами. Волей-неволей он двигался медленно, хотя охотничий пыл и подгонял: скорей, скорей!

Наконец пересек он островину, с которой слышал подлет, и вновь побрел болотом... И вот отчетливо донеслось щелканье... Вот щебечущее скирканье...

Раз-два-три — под песню три больших не то шага, не то прыжка. Теперь пусть плещет вода, пусть чавкает болото! ОН не услышит!

«...Дэб!.. Дэб!.. Дэбб-дэбб». И за раскатившейся дробью вон он, скрежещущий шепот: «Шиб-шиби, шиб-шиби-шиб шиб-шиби».

Под скрежет опять шаг-другой-третий... И стойка!.. И вновь, и вновь прыжки-шаги, стойки...

А вокруг разгоралась утренняя жизнь: раскатисто хохотал куropат, трубили журавли, пела зорюшка, где-то вдали уже высвистывал нетерпеливый дрозд, не пожелавший ждать полного рассвета... Болото осветилось мягким, неуверенным светом. Понизу еще лежала полутьма, но уже стало можно заранее разглядеть, как обогнуть валежину, за какими соснами прятаться... На светлеющем небе все резче очерчивались кроны сосен островины, где пел глухарь подряд — песню за песней, песню за песней. А вправо над лесом смело и задорно раскраснелась заря.

«До чего же хорошо!» — лишь мельком успел подумать Валерий. Где уж тут разглядывать красоту, когда так тебя и бросает вперед!

«...Дэб!.. Дэб!.. Дэбб-дэбб!..» — россыпь... скорее шаг-два-три — стойка... И еще, и еще, и еще...

Вот Валерий у самого острова, глухарь рядом... Под следующую песню надо уже выскакивать на сушу. Готовясь к броску, охотник напрягся, наклонился вперед!

«Дэбб-дэбб», — и россыпь... Вот оно! Шаг-два!..

Выстрел грянул впереди... И через секунду затрещали сучки под падающей тяжелой птицей... и удар о землю!

— Эй! Кто?.. — невольно вскрикнул Михалев и в тот же миг увидел шагающего к убитому глухарю высокого человека... Агатова!

— Эй! Игорь Андреевич! Это вы? (вопрос от растерянности глупый).

— Я...

Валерий, еще до конца не понявший, что произошло, подошел к Агатову:

— Как же это? Разве вы не слышали, как я шлепал по болоту?

— Ммм... плохо слышал...

Михалев больше не спрашивал, а Агатов стал говорить, говорить:

— Я все ждал, когда вы выстрелите... Вы где-то пропадали... ну вот я и решил... Вы пропадали... Да, если хотите, возьмите его себе... если хотите, себе глухаря возьмите...

Михалев наконец понял: Агатову до глухаря было вчетверо ближе, да и ни с какой тропки ему не приходилось сбиваться...

Пока шли домой, Валерий ни словом не перемолвился с «удачливым» охотником: боялся сорваться, наговорить такого, что самому будет стыдно вспомнить. Он и в гостеприимном домике Андрея Петровича промолчал об охоте, предоставив Игорю разглагольствовать. А тот, вовсе отбросив смущение, которое все же чувствовалось у него там, на болоте, болтал:

— Знаешь, папа, Валерий Ильич так запутался в лесу... я боялся — утро вовсе у нас пропадет... нельзя было упустить такое утро... ведь товарищу надо помочь... выручить... ну я и решил...

Михалев старался не слушать эту дрянную болтовню. Не мешкая, он уложил в рюкзак кое-какие свои мелочи, сунул ружье в чехол и стал прощаться. Старики Агатовы так и ахнули.

— Валерий Ильич! Да вы же на четыре дня приехали! — расстроилась Агния Семеновна. — Сейчас к завтраку у меня пирожки поспеют!

Михалев отбивался как мог:

— Простите, Агния Семеновна! В Москве очень неотложное дело!

— Валерий Ильич, а как же тяга-то, тяга! — стонал Андрей Петрович.

— В другой раз как-нибудь... Не сердитесь! Надо!

— Да ведь сейчас и на поезд еще рано!

— Ничего, посижу на станции, подожду...

Приступил и Игорь:

— Валерий Ильич, что же вы своего глухаря не уложили?

Но Михалев, еще раз поблагодарив стариков, вскинул за плечи почти пустой рюкзак, ружье и зашагал к железнодорожной станции.

Так оборвалось это знакомство.



На съемках охоты Ростовых

(Заметки консультанта)

В октябре 1962 года мне пришлось быть консультантом на съемке псовой охоты для фильма «Война и мир».

Коллектив студии «Мосфильм», предприняв сложнейшую работу по экранизации гениального произведения А. Н. Толстого, стремился воссоздать в четырехсерийной цветной широкоэкранной кинокартине подлинную силу и красоту толстовского мастерства.

Лев Николаевич в свои молодые годы очень любил псовую охоту и отлично понимал ее. Поэтому сцены охоты в его романе не только блещут высокой поэзией, но и точно изображают старинную русскую потеху, — они сделаны рукою знатока.

Достойны уважения те усилия, которых не жалели главный режиссер-постановщик С. Ф. Бондарчук и ведущий съемки режиссер А. В. Чемадунов, чтобы показать в фильме псовую охоту во всей ее подлинности и одновременно поэтичности.

Той псовой охоты, какая была во времена Толстого, давно не существует, и «воскрешение» ее в кинокартине встретило много трудностей. Я стал консультантом лишь через месяц после того, как началась подготовка и когда настало время браться за натурные съемки охоты. Исправлять ошибки подготовительного периода было некогда — приходилось выискивать обходные пути.

Работа предстояла немалая. Эпизод псовой охоты вошел в сценарий почти целиком; не включались лишь встреча Николая Ростова с Илагиным да состязания борзых по русаку.

После долгих поисков подходящей местности режиссеры остановились на полях села Богословского, в Ивановском районе Тульской области, в 20 километрах на юго-запад от Каширы. Выбор места был, не-

сомненно, удачен: оно не только красиво, но и отмечено всеми характерными и обаятельными чертами средней России — мягкостью ландшафта, простором горизонта, величавым, подлинно русским покоем. В особенности хороша широкая и глубокая долина речки Беспуты, правого притока Оки. Осенью, во время съемок, поля были совсем как в описании Толстого: перемежаясь крупными полосами, тускло желтели участки стерни, краснели гречишные жнивья, изумрудно зеленели озими, и тяжело темнела зябь. Оживляя и разнообразя пейзаж, кое-где в полях разбросались островки леса — бурые дубняки и золотые березники. Лесной отъем с характерным названием «Зараза», отделенный от села Богословского ложиной и оврагом, должен был изображать Отраденский заказ, куда, по словам ловчего Данилы, перевела волчица свой выводок и откуда гончие выживали волков в поля — под своры охотников.

В начале подготовительного периода в Богословском были собраны и расквартированы основные силы псовой охоты: лошади, собаки и, конечно, люди при них. Самыми интересными здесь были борзые — той исконной русской псовой породы, которая велась в помещичьих комплектных охотах. Собаки были очень породны и эффектны по экстерьеру. Всего побывало в Богословском тридцать борзых. Большинство из них — двадцать две — были московские. Двух собак привезли из Горького, одну из Таллина и пять из Тульской области.

Гончих русской породы (двадцать шесть собак) предоставили организации Всеармейского военно-охотничьего общества. При гончих состояли восемь егерей. Одного из них администрация кинокартины назначила «доезжачим», а другие остались как бы «выжлятниками».

В разгаре съемок стая была усилена еще четырьмя смычками (при двух охотниках) из волкогонной стаи русских пегих гончих калининской областной госохотинспекции. Последние резко отличались своим нарядным пегим окрасом от основной массы чепрачных и багряных гончих и поэтому стали изображать особую — дядюшкину — стайку. Всего набралось до тридцати четырех гончих. Нужно оговориться: все

тридцать борзых и тридцать четыре гончих одновременно «в строю» не выступали. Всегда кого-то не хватало: то сука запустует, то какому-нибудь кобелю в драке не поздоровится, то, еще того хуже, лошадь наступит собаке на лапу...

Что касается людей, то лишь половина владельцев борзых и егерей работала на подготовке и съемках, превратившись в борзятников, выжлятников и доезжачих графа Ростова и дядюшки Михаила Никаноровича.

Двадцать манежных лошадей были арендованы в спортивном обществе «Урожай». При лошадях были несколько конников. Эти люди, для которых конный спорт стал почти профессией, также вступили в ряды графской охотничьей прислуги.

Кроме собак и лошадей, уже во время съемок, в Богословское были привезены восемь волков: один матерый, два переярка и пять прибылых. Первые три уже прошли дрессировку и участвовали в создании фильмов, а молодняк, взятый из гнезда весной 1962 года и выращенный в клетке, оставался полудиким.

Итак, собак собралось немало. На вид они были те же, что и в охоте графа Ростова. Но, по существу, это было вовсе не то. Взять хотя бы московскую борзую наших дней. Вместо закаляющих условий псарного двора она живет в городской квартире. Коня — неизменного товарища былой борзой — наша собака не знает и уж, конечно, никакой выворки при всаднике не видывала. Если с нею и охотятся, то мало и лишь по русаку. Не каждая нынешняя борзая ловит лисицу, а о волке и вовсе не имеет понятия. Да и гончие стали не те. В псовой охоте они гнали большой артелью — стайей; от них требовались прежде всего дружность работы и абсолютное послушание. Нельзя же было тащить на охоту сорок собак на сорока привязях. Не сворка должна была держать собаку, а полное подчинение человеку. И прежняя стая спокойно шла за конным доезжачим, лишь до некоторой степени ограниченная в своей свободе смычками (парными ошейниками), а то и без них. Современные же гонцы работают большей частью в одиночку, редко — смычками, и дороже всего нам их мастерство и вязкость. О том, чтобы спокойно идти по пятам охот-

ника, а тем более конного, сейчас гончие и знать не знают (за редким исключением).

Во время подготовки к съемкам требовалось привить собакам хотя бы некоторые черты поведения их предков. Особенно надо было подумать о том, как устроить схватку борзых с волком. Однако назначенный администрацией руководитель подготовки подошел к съемкам охоты несерьезно. Он считал: «Любая борзая обязана и будет брать волка».

Никакой проверки борзых по волку сделано не было, и, когда дело дошло до съемки схватки борзых с «материком», выяснилось, что ни одна из собак не смеет прикоснуться к зверю. Вот и пришлось тогда выискивать чрезвычайные способы, чтобы заснять эту сцену.

Итак, подготовка борзых ограничилась их конной высворкой. Как ни просто это, а было много неполадок. Сложно получалось прежде всего с манежными лошадьми: полевой простор выводил их из равновесия; к тому же в ожидании съемок они сильно застоялись. В первые дни лошади рвались на дыбы, били задом, носились по полям, не слушая повода, и сбрасывали зачастую даже опытных ездоков. Были и анекдотические случаи: владельца борзых, взявшегося за верховую науку, чтобы не доверять своих собак чужим рукам, лошадь унесла с поля в конюшню, прошагав под ним все 200 метров... задом.

Отсутствие правильных ошейников с рыскалами и вертялками и длинных свор вело тоже к «конфликтам». Вот пример: надев на собак парфорсные ошейники и сев на лошадь, руководитель подготовки стал показывать высворку. Он потащил упиравшихся и визжавших от боли борзых, и они оказались у конского зада. Испуганная лошадь чуть не искалечила собак, а их хозяйка бросилась к всаднику с воплем: «Я убью вас! Вы меня еще не знаете!»

Но постепенно дело налаживалось. Ошейники и своры были изготовлены: стал применяться способ вождения борзых при лошади «на растяжке», на двух сворах: длинная шла вправо от собаки к конному борзятнику, а на короткой владелец борзых удерживал их в почтительном отдалении от коня. Так борзые приучались на своре сторониться лошади.

В итоге благодаря настойчивости и упорству владельцев к началу съемок борзые хорошо шли при лошади. Лишь отдельные, особенно избалованные псы не поддались дисциплине и почти не использовались на съемках, к великой обиде своих хозяев.

От гончих для съемок требовалось немного: «течь» в стае на смычках за конным доезжачим да еще дружно валиться с напуска в лес.

Приучить стаю хорошо идти на смычках — дело несложное. Нужны лишь недели две на обучение и тренировку да человек, который сумел бы добиться доверия всех собак и с добрым желанием занимался бы стаей. Но в Богословском такого не нашлось. Егеря знали только «своих» собак, а собаки — лишь «своих» егерей (да и то не очень). Егерь, назначенный доезжачим, не знал, как приучить к себе всех гончих. Некому было поучить его манере ласкать и баловать лакомством собак и вообще побольше бывать с ними. А ведь весь секрет здесь в ласке доезжачего да в умении выжлятника пользоваться арапником...

Руководитель подготовки, не зная приездки гончих, пошел, как говорится, по линии наименьшего сопротивления и надумал устроить вместо стаи некую «кучу». Он приказал связывать гончих за ошейники по пять-шесть собак, и каждую такую вязанку вел отдельно на своре верховой выжлятник. Не говоря уже о трудности такого вождения и полной недопустимости подобного «трюка» с точки зрения псовой охоты, этот «способ» сводил на нет тот эффект, который способна произвести организованная в стаю масса гончих: между вязанками получались значительные просветы, а сами вязанки виделись со стороны как одна собака, много — как смычок.

У меня не было ни одного дня для более или менее нормальной постановки стаи, и поэтому оставалось либо задвигать гончих на задний план, либо всякими ухищрениями маскировать то, что получалось так нескладно.

О «стойке под островом» перед напуском стаи, конечно, нельзя было и думать, но дружный уход гончих в полаз удалось создать почти без грязни. Помогли совместные проводки всей массы гончих и совместное содержание их хотя и на цепях, но в общем

хлеву. Впрочем, шли-то собаки в остров хорошо, а вот собирать их, вылавливать оттуда при отсутствии единого командования оказалось более чем мудрено...

Съемки начались 10 октября.

Ежедневно к 9 часам утра должны были собираться на съемочной площадке все: борзятники, гончатники, всадники, борзые, гончие... И тут мне пришлось стать чем-то вроде бригадира, оббегающего с нарядом поутру избы колхозников. Народ ведь был разбросан по всему Богословскому, размещаясь и поодиночке, и по двое, и как кому пришлось. А народ был разный (кое-кого приходилось даже будить).

Вообще работа консультанта была очень интересна, но наряду с решением композиционных вопросов и с участием в организации сложных охотничьих сцен мне приходилось заниматься и многими мелочами. Я должен был следить, в частности, за тем, чтобы ремни-своры надевались через правое плечо, а рога — через левое. Наблюдать за тем, чтобы конские хвосты были правильно подвязаны, и зачастую делал это сам, а также приторачивал к седлам русаков и лисиц (чучела) для сцены возвращения охоты в дядюшкину усадьбу. Я принял на себя роль выжлятника, когда проверялась приездка калининской стайки пегих гончих (она, как бы в укор военным егерям, отлично шла на смычках за доезжачим). Много приходилось следить за порядком, организованностью на съемках, улаживать претензии хозяев собак.

При натурных съемках ведь так много помех! Нужно солнце, а его загородили облака. Нужно немедленно снимать удачно разместившихся собак, а тут в аппаратуре что-то заело. Мало ли неполадок! А на съемках охоты их, пожалуй, особенно много: с четвероногими артистами, да еще выступающими столь большой компанией, нелегко сварить кашу. Вот, например, охота Николая Ростова идет к «Отраденскому заказу», преодолевая крутой кряжик, всадники немного скучились. Тут ничего плохого не было бы, если бы у давно враждующих друг с другом борзых кобелей при сближении не возникли крупные «разногласия»... А грызня никак не должна входить в композицию кадра! Тотчас раздавалась громовая режиссерская команда:

— Все — назад! По местам! По местам! — и вся сцена повторялась сначала... чтобы опять сорваться из-за какой-то капризной лошади... И так до тех пор, пока наконец не добивались желаемого результата.

Многие кадры с широким захватом живых групп и пейзажей могли сниматься только при солнце. А погода капризничала — приходилось ждать и ждать. И такие ожидания сказывались и на собаках. Устав от слишком частых репетиций, они в нужный момент то рвались куда не следует, то, наоборот, ложились и не желали вставать.

Попробуй сними таких исполнителей! И работа откладывалась...

Много внимания в съемках сцен охоты уделялось, конечно, вопросам композиции, сочетанию живописного пейзажа с внушительной и своеобразной красотой ансамблей и атрибутов псовой охоты. И это хорошо удавалось режиссерам, тем более что материал был очень благодарный. Ведь не могут не увлечь зрителя удивительно уживающиеся в борзой собаке мощь и грация; ведь всегда привлекательны для человеческого глаза стройность лошади и красота как бы слитых воедино всадника, коня и своры борзых. В массовых сценах полевые просторы как-то особенно хорошо подчеркивают затаенную охотничью удаль этих верениц и групп охотников, которые на фоне русской природы представляются необычной, но организованной силой, иногда даже напоминающей войско.

Следует признать, что композиционные замыслы режиссуры не раз могли бы вызвать протест с точки зрения сухой точности изображения псовой охоты как исторического факта. Но педантизм тут был бы вреден. Ради эффектности, ради театральной выразительности мне, в данном случае защитнику «псовых канонов», приходилось отступать от них. Правда, в слишком резких и несурзных для охотничьего глаза случаях я восставал и накладывал вето. Характерна в этом отношении съемка напуска гончих. Хотя в действительности в псовых охотах ловчий заводил стаю кучей в глубину леса и там набрасывал прямо на логова волчьего выводка, но здесь, на съемках, невозможно было отказаться от напуска гончих с поля (с зеленой). Вид множества собак, пущенных

сразу и неистово мчащихся в лес, был так увлекателен и ярок, что пуританство было бы ни к чему.

И я благословил это беззаконие!

Однако при съемках этой же сцены в чем-то и нельзя было уступить режиссерам: гончие бросались в лес с лаем, и режиссерам очень хотелось озвучить кадр этим попусту поднятым гамом. Мне пришлось решительно заявить: «Пустобрехов в псовых охотах просто вешали!»

Движение ростовской охоты к «Отраденскому заказу», где предстояло «брать волчий выводок», режиссеры показали по-своему, не считаясь с прямым указанием текста романа. У Толстого сказано, что «все (охотники.— В. К.) без шуму и разговоров, равномерно и спокойно растянулись на дороге...». Режиссеры же дали этот выезд иначе: из-под горы всадники с борзыми выезжали фронтом и, постепенно перестраиваясь, проезжали мимо кинокамеры уже гуськом. Здесь их обгоняли Наташа с Петей, и это не только оживляло картину, но и оттеняло суровую силу охотничьего строя.

Развернутая линия борзятников в этом эпизоде, мне кажется, оправдана тем, что как-то отдаленно ассоциируется с военными мотивами, столь характерными для «Войны и мира».

Встреча ростовской охоты с дядюшкиной развертывалась на фоне широкого русского ландшафта: в дымке тумана разлеглись поля, внизу поблескивали излучины речки, в стороне бурел дубняком высокий склон над оврагом...

Недостаток этой композиции, на мой взгляд, в том, что, выставив все свои ресурсы на кон — на такой простор, постановщики заставили графскую охоту выглядеть слишком скромной, даже бедноватой. И все же съезд двух охот получился очень интересным по композиции и очень живописным.

Показав в сценах выезда и движения весь комплект псовой охоты, постановщики затем расставили действующих лиц на звериные лазы. Старый граф выезжал на дрожках на оставленный ему лаз. Кроме шута Настасьи Ивановны его сопровождали два борзятника с борзыми (Чекмарь и Митька). С этого кадра начиналась съемка охотничьих сцен; впервые борзых

вели артисты — «чужие». А владельцы поэтому страдали:

— Ох, попадет Русалка под Митькину лошадь!.. Ох, переломают ей ноги!

— Ох, как бы Чекмарь не сунул своих собак под колесо дрожек!..

Но все обошлось благополучно, а дальше пошло легче... В этой сцене определились борзые старого графа. Нужно было учесть это, чтобы и в других сценах при графе были те же собаки. Так же закрепились за «экранными хозяевами» и борзые Николая Ростова, его стремянного и Наташины.

Как ждет охотник зверя на лазу — в этом сказывается весь его характер.

Поэтому и сцены «На лазах» сделаны в фильме по-разному.

В опушке за елочкой и золотой березкой укрылся со сворой Николай Ростов. Его стремянный с запасными собаками скрыт еще глубже, но ничто не мешает быстро показать борзым зверя и мгновенно сбросить их со своры. Молодой Ростов знает, где стоять. «Тонко ездю знает», — говорит о нем Чекмарь. Николай сидит на своем рыжем донце и молит бога послать на его лаз матерого волка... А подлинная хозяйка его борзых — Г. В. Зотова (у Николая на своре, кстати, лучший в СССР по экстерьеру псовый кобель) терзается:

— Ведь под Николаем — конь с придурью. Ох, как бы не переломал ноги Загару!..

Но тревоги излишни. Артиста (не ездока), которому трудно справляться с капризной лошастью, снимают, лишь пока он молится, и нижняя рамка кадра проходит выше воображаемых борзых, и их, конечно, в этот момент под конем нет. А когда дело дойдет до спуска борзых и скачки за волком, то на лошади будет уже дублер артиста — отличный конник. Под ним конь не задурит!

Впрочем, собаки сами для себя создают опасные положения. Хотя они правильно приняты (то есть наизаны) на свору, законно надетую борзятником через правое плечо, и спусковой конец ремня он все время держит наготове, неопытные борзые, меняясь местами, путают свору. Пока оператор готовится,

консультанту нужно глядеть в оба и живо переставлять собак на правильные места.

Проще с Наташиной сворой. У нее всего две собаки, а две не запутаются. Да и пускать их не придется: Николай распорядился поставить Наташу у дубов, в том отвершке, «где никак ничего не могло побежать».

Старый граф на лазу знает порядок. Он неплохо замаскировался... да и заболтался... А прозванный волк уже подскакивает к той опушке, у которой стоит граф (в опушке спрятался, конечно, и дрессировщик, к которому стремится зверь). А вот и Митька, пускающий собак тогда, когда скакать за волком уже безнадежно. Особый кадр: Данила выносится за гончими из кустов, «обкладывает» графа последними словами и мчится дальше...

Пока борзятники напряженно ждут на лазах, стоя в лесу варом варит. Голоса гончих полны злобы и страсти. Рев бушующего гона то приближается, нарастая, то как будто затухает, глохнет, удаляясь, то вновь бурно вспыхивает в неожиданной близости...

Звуки гона записывались отдельно от съемки и получены были так: на полянке егеря держали на сворах два десятка гончих, а перед собаками играющий Данилу московский охотник Земляков проводил живую лисицу. Видя лису и, конечно, чуя ее возбуждающий запах, гончие «гнали» на глазок и ревели, захлебываясь, а звукооператоры тем временем записывали...

Выдумок и «секретов производства» было немало, и они очень помогли яркости кадров. Облегчала съемку и современная техника. Очень обогащались кадры при съемке с крана, движущегося вертикально и горизонтально, позволяющего смело углубить и расширить перспективы и наполнить картину еще более увлекательным содержанием.

Удачно применялась кинокамера на конце длинной подвижной стрелы. С помощью такого приема напуск гончих снят в перспективе, да еще с прослеживанием скачки собак по полю. Благодаря этому зритель может полнее почувствовать силу множества собак с их неистовой охотничьей страстью, объединенных в одно целое упорной работой людей. Использование той же

стрелы, а также и вертолета помогло работе над сценами скачки борзых и всадников за волком.

Или вот: Николай Ростов на своем лазу, моля бога о волке, обращает взоры к нему. Стрела с кинокамерой следует за его мыслями к облакам, а когда глаза Николая и камера опускаются к земле — там прямо перед охотником стоит крупный зверь (использован переярочек необычайно рослый). Тут надо отметить исключительную настойчивость режиссеров и операторов: сколько раз кинокамера, спускаясь от облаков к земле, встречала зверя то стоящим задом к аппарату, то заглядывающим в яму, где спрятался дрессировщик, — и все же сцена была снята!

В сцене поимки волка борзыми действовал прибылой волк. Матерого и переярочков дрессировщики не дали для травли, опасаясь, что обученные звери отобьются от рук после полученных неприятностей. Встреча борзых с прибылым — небольшим, сравнительно нестрашным зверем — была весьма желательна и владельцам собак.

По Толстому, травля должна завершаться в водомоине, то есть рытвине, промытой вешними водами. К сожалению, эта сама по себе труднейшая сцена была осложнена выбором места в болоте. И без того борзые не решались брать волка, а в таких условиях еще более терялись — мудрено оказалось сделать этот кадр. И вообще с волками было нелегко: просто ли приторочить живого волка к седлу на современную манежную лошадь! Все-таки удалось найти покладистого коня, который вынес эту процедуру если не вполне спокойно, то, во всяком случае, достаточно терпимо. И съемку притороченного к седлу зверя удалось выполнить крупным планом — это немалый козырь.

Эпизод псовой охоты в романе Л. Н. Толстого занял сравнительно небольшое место по отношению к роману в целом, но он нужен был автору, конечно, не только для того, чтобы показать, как в начале XIX столетия тешилось дворянство. Писатель искал и видел в этих картинах проявление духа народного. Стоит лишь взглянуть на образ ловчего Данилы, простого русского человека. Как смело и горячо выражается у него брань по адресу графа, которому сам

Данила принадлежит, как вещь! А как лихо он принимает матерого волка! И разве после этой правдивой и яркой картины не становятся как-то еще естественнее и понятнее сердцу героизм и подвиги солдат Отечественной войны 1812 года, совершаемые с той же простотой, что и отчаянная (а для него самого заурядная) работа ловчего Данилы?

Кроме того, сцена охоты в «Войне и мире» обогащает новыми и своеобразными чертами образы Наташи и Николая и дает столь колоритный и поэтический портрет дядюшки Ростовых.

Участвуя в съемках, я думал: пусть картины охоты Ростовых станут своего рода памятником псовой охоте, одному из замечательных украшений русского прошлого.



Шли очередные Саратовские испытания борзых по вольному зверю.

А делается это дело так: борзятники, то есть охотники с борзыми собаками, развернувшись в линию, идут или едут верхами на лошадях по полям и ведут борзых на ременных сворах. Судьи, обязательно на лошадях, едут позади этой «равняжки». По вскочившему с лежки русаку или лисице ближайшие к зверю борзятники пускают своих собак. Резвость борзых и ловлю ими зверя оценивают судьи, скачущие за травлей.

Неприветлив был этот последний день октября. Сердито нависало над степью тяжелое, сумрачное небо. Сплошные серые облака упорно и бесконечно ползли и ползли с северо-востока — из студеного угла. Выбитые скотом жнивья пожухли, остатки стерни клочьями прилегли к земле, попадались растрепанные кучки соломы. Уныло костыляли под ветром растопыры-перекастихи. Участки непаханой степи, покрытые седым, сизоватым полынком с островками темно-

рыжих бурьянов, лежали скучные, неживые; лишь по краям ложин да неглубоких балок шевелились под ветром бесцветные космы ковыля. А ветер несильный, но неотвязно-упорный и холодный дул и дул ровно и бесстрастно.

Зверя было мало, и километр за километром равняжка двигалась полями без травли. Пешие борзятники грелись ходьбой, но худо приходилось верховым и особенно судьям, обязанным весь день торчать в седлах, на своем «высоком» посту, слишком подверженным недобрым ласкам ветра. Если бы скакать за травлей! А то — шаговая езда часами и часами... Застынешь!

Еще тяжелее и томительнее казались испытания оттого, что псовые борзые двух саратовских питомников, для которых все и устраивалось, работали плохо. Нудно тянулось время! Невесело я раздумывал о том, как долго еще придется терпеть, пока удастся дать работу всем борзым: и четырем группам по три собаки, идущим в равняжке, и паре Шурихина, бредущей в резерве позади судей и ожидающей освобождения места в равняжке. Дотемна придется мыкаться!

Судьи перезябли и по очереди спешивались, чтобы погреться, ведя коня в поводу.

Ездили, ездили, наконец метрах в полусотне впереди равняжки побудился некрупный русак, еще всем серый, должно быть молодой. Тучков, хозяин Энгельского питомника, пустил свою свору. Я поскакал за травлей, а шедший в эту минуту пешком судья Романов — пока сажался на лошадь, пока догонял — опоздал. Впрочем, ничего не потерял он от этого. Все три собаки Тучкова заложились было за зверем, но пыла у них хватило не надолго: проскакав метров двести, они стали и, приподняв уши, провожали удаляющегося зайца глазами. Мы с Тучковым остановили коней. Как раз подскакал и Романов.

По правилам испытаний судьям полагалось сделать описание работы тучковских собак и оценить ее. Решили: привал. Кстати, и пообедать не мешало.

Едва только судьи и борзятники расположились под ометом соломы с подветренной стороны, как откуда ни возмись — всадник на невидной, низкорослой, но крепенькой карей кобылке. При нем на своре

шла борзая сука чубарого окраса, довольно типичная для русской псовой породы.

Наши собаки, конечно, бросились на чужую, но борзятники их живо успокоили, тем более что чубарая гостя вела себя скромно.

Всадник приложил руку к шапке:

— Разрешите, товарищи, к вашему колхозу?

— Пожалуйста!

Гость не мог не вызвать удивления: он сидел в седле как-то полубоком, правой ногой опираясь на стремя и придерживаясь за переднюю луку остатком левой, ампутированной выше колена. У седла висел костыль. Приезжий отстегнул его и, спрыгнув на землю, подхватил под левую мышку.

— Разрешите представиться! Иван Корнеев — бывший старший сержант артиллерии, теперь старший свиновод совхоза «Алый стяг».

Невысокий, плотно сложенный борзятник лет под пятьдесят, с румяным светлоусым лицом, мастерски управлялся со своими «средствами передвижения», как назвал он с усмешкой уцелевшую ногу и костыль. Он подвел смирную, покладливую лошадку к омету:

— Позабавься! — и кобылка принялась теребить яровую солому.

А потом Корнеев обошел всех нас, всем пожал руки.

Была у нас фляжка с «согревающим», ну и выпили мы с гостем: всем хватило по два термосных колпачка. Поели. Ну, конечно, и не молчали. Корнеев очень критически отозвался о борзых наших испытаний, скачку которых наблюдал издали.

— Гляжу на ваших борзюков: на вид — краса. А гонять зайца ни черта не могут. Прибылому русакишке и то угонки не выдали! По такой слабине век зверя у седла не увидишь. Да бес с ним, со зверем! Пускай не поймали... Хоть бы душу тебе зажгли, красоту показали бы! А тут и этого ни на копейку.

Я старался оправдать борзых питомника:

— С ними заняться бы как следует, они ловили бы!

Но Корнеев не принял моих доводов:

— А питомнические борзятники нешто не охотники? Кони добрые — только ездят, травят... — Заметив угрюмые взгляды Тучкова, гость осекся и переменил

разговор: — Испытания — замечательное заведение. Я прежде и не слышал про такое. Разрешите показать работу Кары. Товарищи судьи, очень прошу! По возможности!

Судьи, разумеется, согласились — ну как не уважить воина-инвалида? Да ведь и ущерба от этого никому не будет.

На место отработавшей своры Тучкова теперь в равняжку вступала пара Щурихина. К ней мы и присоединили Кару; получилась сборная свора при двух ведущих — пешем Щурихине и конном Корнееве. Она заняла левый фланг. В 60 метрах правее стал конный борзятник второго питомника Сенечкин, дальше на таком же расстоянии равнялся борзятник Энгельского питомника Петров, тоже на лошади, а на правом фланге в одной группе вели борзых пешком городские охотники Матвеев и Земляков.

Тучков не вернулся на нашу стоянку в селе. Он задержался в поле, чтобы наблюдать за скачкой остальных собак, и ехал теперь позади.

Я скомандовал:

— Пошел! — и равняжка тронулась.

На этот раз искали зверя недолго. И первый же заяц вскочил как раз против группы Щурихина — Корнеева, не подпустив их метров на восемьдесят. Матерый русачина поднялся из-под кучки перекастихи, застрявшей у межи, и зажег все борзятничьи сердца своим ростом и красотой. Он был, как говорят охотники, цвёлый, то есть успел вылинять к зиме, ноги его побелели, а спина и бока стали чалыми. Было на что любоваться охотникам, знатокам заячьей красоты!

Резво покатила заяц по жнивью, весь на виду как на ладони. Щурихин сразу сбросил своих собак со своры, а Корнеев почему-то промешкал и пустил Кару, когда русак был уже метрах в полтора. Дальняя получилась у Кары доскачка. Вихрем заложилась она по зайцу, догнала борзых Щурихина и обошла их, по охотничьему выражению, «как стоячих». Да они и действительно вскоре прекратили скачку. Каре пришлось действовать в одиночку. Трудность великая!

Скачка борзой тем дороже для охотника, чем больше страсти у собаки, чем неистовее ее порыв. И у

Кары это было в высшей степени. Она мчалась, летела, стелясь над землей, вся отдавшись этому стремлению. И скакала Кара при этом так легко, с такой упругостью и красотой, что казалось: скачка ей ничего не стоит.

Спустив Кару, Корнеев и сам помчался карьером. Пустили коней во весь мах и судьи.

Некогда было мне заглядываться на скачку борзятника-инвалида, но невозможно было не заметить его смелость и искусство держаться в седле при таком тяжелом увечье. Он несся на Карюхе во весь опор. Видно, ему и в голову не приходило, как трудно и опасно сидеть в седле на таком бешеном аллюре при одной лишь здоровой ноге.

Нет! Не мог я не любоваться самозабвенной лихостью, на которую, думается, способен только русский борзятник!

По ездоку была и лошадь: она неслась резво и азартно. Какая там плетъ! Никак не нужно было ее погонять! Она рвалась за русаком не хуже борзой собаки, она следила за травлей и сама поворачивала за угонками и поворотами зайца!

Старый русак, может быть не раз побывавший в подобных переделках, оторвавшись от шурихинских собак, бросился в широкую и глубокую канаву, поросшую бурьяном, пересекая ее наискосок. Кара не только не потеряла зайца в густых сорях, но скакала с той же удивительно уверенной резвостью. Пролетев чистую полосу жнивья, русак еще раз скрылся в бурьянах, но это не смутило Кару, и, промчавшись сквозь бурьян, она появилась по ту сторону его там же, где выскочил из сорняков заяц. На чистом Кара стала доставать русака... Ближе, ближе... Вот она рывком очутилась над цветком (хвостом) русака... Сейчас схватит! Но русак круто метнулся в сторону, с этой резкой угонки выскочил на гладко наезженную дорогу и полетел по ней назад, к месту подъема и к борзятникам, остановившимся там в начале травли.

Как водится, русак на дороге стал махать так резво, что Кара, справившись на крутом повороте и вырвавшись на дорогу, скакала за ним, почти не сокращая просвет между собой и зверем. Больше полукилометра вел русак дорогой сильную и стойкую борзую, пока

встречная повозка не заставила его кинуться вбок, на стерню. Как ни скакал он здесь во все ноги, но на полевом грунте Кара стала быстро и уверенно подбираться к русаку. Она уже готовилась потащить или, по крайней мере, бросить зайца в сторону новой угонкой, но не вышло: русак влетел в полезащитную лесную полосу. Скрылась за ним и Кара.

— Все! — решили судьи. Ведь по всем канонам борзой в лесу делать нечего. Но Корнеев, не отставший на своей быстрой каурке, крикнул:

— Глядите! Где Кара выйдет в поле... Там поймала... — И он пронесся мимо.

Мы с Романовым поехали за ним рысью, уверенные, что как ни отлично работает Кара, но придется ей теперь отступить. Ехали мы и поглядывали: вот-вот борзая покажется на чистом и побежит к хозяину. Наблюдали мы за своей стороной поля, поглядывали и за лесополосой — она была ниже всадника. Проехали метров полтора вдоль леса и увидели: Кара вдали вышла из чащи... Вот подскакал к ней Корнеев, прыгнул с лошади.

Оба — охотник и собака — скрылись в кустах, а карья кобылка осталась стоять — ни шагу. Крепка вычка!

Судьи заторопили коней, и едва подравнялись к Карюхе — из лесополосы вышел борзятник, левой рукой управляясь с костылем, а в правой неся богатыря-русака. На наших глазах совершилось чудо: борзая поймала зайца в лесу!

Горячо поздравили судьи охотника! А он, зайдя с правой стороны лошади, приторочил русака к седлу, пристегнул костыль, лихо вскочил на Карюху, и все мы трое поехали к остальным борзятникам навстречу.

Сколько тут было восторгов, поздравлений, похвал и собаке, и борзятнику, и лошади! Тучков подъехал вплоть к Корнееву и прямо с лошади обнял победителя и расцеловался с ним.

— Ай да Кара! Ай да ловец!

Счастливый Корнеев сиял:

— Ловит — это ладно. И жинка, и пацаны мои зайчатину обожают. Но всего дороже как скачет собака — ну чисто тебе ласточка летит! Глядишь и не глядишься!

Каре судьи, разумеется, дали диплом. И жаль было только, что нечем нам наградить хозяина — чудесного ездока и отличного охотника.

Человек ногу на войне потерял, но видеть красоту не разучился, да и удаль — вся при нем!



Тяжелый случай

В тот год День Конституции — 5 декабря пришелся в пятницу. Нам с Михаилом Ивановичем Пениным на наших службах удалось освободиться и на субботу. Получалось целых три дня для охоты.

Из Москвы мы выехали вечером в четверг, забрав с собой мой смычок русских пегих гончих (Пенин оказался в то время «безлошадным»). Мой товарищ был постарше меня — уже под шестьдесят, но слово «старик» не шло ни к его живому сухощавому лицу с русой бородкой клинышком, ни ко всей его небольшой, ладной и подвижной фигуре. Да и что за старость при такой жизнерадостности и широте интересов!

За увлекательными охотничьими и неохотничьими разговорами мы и не заметили, как пригородный поезд довез нас до нашей станции.

Теперь покатали мы на своих двоих по заснеженному проселку — дорога недалёкая, всего семь километров. Тут беседа шла больше о перспективах: хорошо будет гон! Снег сплошь укрыл землю неделю тому назад, а нынче утром выпала свежая пороша, самая такая, какая нужна, — неглубокая, лишь прикрывшая старые следы.

Хорошо было идти, наслаждаясь той тишиной полей и лесов, по которой так часто скучаешь в городе.

Шли мы и полями, а больше лесом. День простоял без ветра, и деревья не стряхнули с себя выпавший снежок. Каждый березовый сучок, каждая еловая лапа, ровно и точно посыпанные снегом, четко выри-

совывались под ярким месяцем, гордые чистотой своего наряда и его мельчайшими блесками-искорками.

Но не очень-то залюбишься игрой лунного света и сверканием разноцветных искр, когда ведешь смычок засидевшихся гончих в расцвете сил. Воображая след зверя в каждой ямке на снегу, они кидались из стороны в сторону со всей присущей им страстью. А Пенин еще и острил:

— Что-то не пойму, почему это не гончие текут за доезжачим, а доезжачий ныряет за ними? Это такой новый метод приездки?

Когда часам к одиннадцати мы пришли в село Троицкое, Марья Харитоновна отворила нам быстро:

— Не спала я, ждала! Тоже ведь понимаю, какая пороша! Тут же пришлось ей отбиваться от гончих, которые на радостях могли сбить с ног:

— Да отвяжись, Гобой! Лютня, убирайся!

Но выжловка успела все же допрыгнуть, лизнуть хозяйку в нос.

Собак привязали на дворе на соломе, а сами — в избу, к самовару.

Марья Харитоновна, женщина пожилая, но еще не совсем расставшаяся со своей былой красотой, действовала у стола быстро и ловко. А выкладывала она нам не только пироги да соленые грибы, но заодно и свои трудности-печали.

— Хороши сынки, да живут себе в Москве припеваючи, не приедут седой матери дровец повозить. Не чувят, как у меня всю поясницу разломило.

Михаил Иванович не мог оставаться равнодушным к чужой беде.

— Марья Харитоновна, — спросил он, — а колхоз вам лошадку даст?

— О лошади толку нет. Трудней-то у меня вои сколько!

Пенин пуще загорелся:

— Натаскаем дровишек нашей хозяйке завтра!

Я замаялся: выходило неладно. Пригласил друга на угощение, на хороших гончих, и вдруг запрягать его в возку дров!

— А не лучше ли завтра на охоту, а послезавтра дрова? Надо же взять чудо-порошу! Вдруг потом оттепель, пестрая тропка — пропадет охота!

Но Пенин резонно возражал мне:

— Вот именно, вдруг оттепель, испортится дорога! Дрова останутся невоженными!

Он был прав: перевозимые — дело неустойчивое.

Поутру, позавтракав еще затемно, мы с хозяйкой пошли к бригадиру. Стояла тишина, звонкая благодаря морозцу. Розовый в отсветах красной зорьки снег похрустывал под ногами. Погода — чудо! А как манил лес! Вон он, рядом, за деревенскими усадьбами...

Бригадир, высокий седой усач, сперва уперся:

— Москвичи! Да вы в пнях и сани искорежите, и коню ноги переломаете! Где уж вам дрова возить!

Но мы не сдались:

— Да вы только поглядите, как лошадь запряжем!

Дружно, не мешая друг другу, мы в минуту впрягли в дровни рослую кобылу (не впервой нам было, деревенские дела мы знали). И Иван Матвеевич уступил:

— За экзамен вам пять!

И навозили мы Марье Харитоновне дров целую гору. Хозяйка была на седьмом небе. В таком же состоянии оказались и мы, когда, великолепно поужинав, завалились спать. Что тут говорить — заслужили отдых!

Еще задолго до рассвета вышли мы на крыльцо глядеть погоду... На нем вырос сугроб снега, а дальше кутила и крутила буйная метель!

Пенин не мог не сострить:

— Это бог нам дает порошу за наше доброе дело. Не щадя затрат, дает!

Что поделаешь со стихией? Пошли мы досыпать с горя.

В седьмом часу Харитоновна разбудила:

— Охотнички, вставайте! Утихло.

И правда. Погуляв в свое удовольствие ночь, выюга улеглась на покой. Ей хорошо, а нам-то каково? Пороша мертвая. И зовется она так за то, что лес как вымер: ни следка нет. Заяц не вставал, лиса в нору ушла. Плохо, но идти надо: назвался груздем, полезай в кузов...

Снегу оказалось не так уж много. Ходьба была не очень тяжела. В лесу стояла глухая тишина. Его так

занесло снегом, что у крупных елей лапы повисли, а елочки на полянах спрятались под снеговыми колпаками. Снег висел на каждом суку, на каждом кусте. Зима легла взаправду. Как проста и величава ее красота! По избитому определению, лес стоял как замороженный, как в сказке. Но поди окунись в эту сказку! Каждая еловая лапа, каждый куст норовят осыпать тебя всего, да еще сунуть горсть снега за ворот.

Однако гончие в полазе, охотники идут, порская, хотя порсканье ладно, если слышно за сотню шагов.

А следов, как оно и должно быть, нигде никаких: все живое затаилось.

Но не зря Гобой славился тем даром добычливости, которым обладают немногие гончие и который нередко просто поражает.

Вот он отдал голос в добор: на лисий след натёк, значит (по зайцу ни он, ни Лютня, бывало, до подъема не вякнут). Мы, конечно, заторопились за удаляющимся голосом выжлеца. Но любопытно было, с чего все-таки он начал? Пригибаясь и рассматривая снег по касательной, я даже не увидел, а, вернее, угадал как бы намек на цепочку луночек. Видно, лиса прошла здесь ночью, след наглухо заваяло, но чутый гонец не упустил еле ощутимый сквозь снег запах следа!

Добор Гобоя еще на слуху превратился в гон. Подвалила Лютня... Но только собаки заварили, их сразу же стало не слышно: гон утонул в недалекой, но забитой снегом чаще. Нам оставалось идти следом. А на нем между машистыми скачками гончих нет-нет да и попадались не замятые собаками следы прыжков лисицы, мчавшейся во всю мочь... Авось она станет кружить — тогда разберемся, найдем лазы...

Километра два бежали мы следом... И увидели собак, вертевшихся в негустом ельнике возле нор... Недолго музыка играла!

Взяли мы гончих на смычок, смели рукавицами снег с валежины, сели думу думать. Михаил Иванович, как всегда, посмеивался:

— Я доволен. Славно пробежались, и лисица почти в руках — всего метрах в двух от нас. Только земля немножко мешает.

Но вряд ли он не предпочел бы иметь зверя не «почти», а просто в руках.

— А не обтянуть ли нам лисицу флажками? Ночью она вылезет из норы, а утром мы тут как тут, у оклада. Вот и охота!

— А разве есть флажки? — спросил мой товарищ.

— Да я их всегда держу у Марьи Харитоновны на печке.

— Вот здорово! — обрадовался Михаил Иванович. — Гончие плюс флажки!

Заткнув все отнорки палками, а еще окурками и носовыми платками для «страшности» запаха, мы скорым шагом отправились в Троицкое. Еще бы не спешить! Туда четыре километра, да назад четыре, да обтянуть... А день-то короткий!

Всё мы успели дотемна: сбегали, выкроили оклад настолько просторный, чтобы лиса не слишком скоро разочаровалась в поисках выхода из положения, обтянули его флажками, ототкнули норы.

Спалось хорошо... Среди ночи я проснулся... хотел повернуться с боку на бок... И разом сон слетел прочь! В трубе выло, по окнам стегало снегом... Я вскочил: ноги в валенки, на плечи полушубок — и вон. Выскочил на крыльцо: батюшки! Свету божьего не видно! Такая пурга — куда там вчерашняя! Я вернулся в избу, а Михаил Иванович уже тоже не спал. Он спросил со своей лежанки:

— Никак господь бог опять снежку дает?

— Ох, дает!

Но как ни ругайся, как ни злись, что поделаешь? Стихия! Теперь наши флажки так завалит, что лисица, хоть поиском ищи, не найдет их.

— Уйдет, окайнная! — изрек Пенин. — Ей вот уж подлинно скатертью дорога!

Но он не унывал:

— Ничего! На то она и охота!

Легли опять, но не спали, слушая, как выюга хлещет в окно, в степу...

И повторилось вчерашнее: на рассвете метель утихла.

— Что будем делать? Сходим за флажками, да — в Москву?

Но оптимизм не покидал моего друга:

— За флагами не миновать. Но захватим в лес и гончих. Флаги ваши без весу. С ними под гоном бегать можно.

За завтраком мы обидели хозяйку: так спешили, что блинов ее мало послали! А ей так хотелось еще и еще отблагодарить нас за дрова!

Ходить стало потруднее — много снега!

Не доходя до нор метров двести, мы привязали гончих под елкой. Я и соломки им подостлал — догадался захватить с собой от Харитоновны.

— Ну, ребятки, — сказал им Михаил Иванович, — полежите часок, пока флажки соберем.

Гобой и Лютня с тоской и недоумением смотрели нам вслед и скулили...

Норы мы с умыслом оставили у края оклада, с той стороны, откуда придем. И первым долгом осмотрели мы их. Вокруг все следы, и собачьи и лисьи, замело начисто. Но внутри большого отнорка снегу насыпало меньше. Там отчетливо виднелся выходной следок. Вылезти-то лисица вылезла, да сразу след ее и пропал. Ну, а вдруг она все-таки осталась в окладе, вдруг каким-то чудом не ушла?

Заткнув на всякий случай отнорки, мы побежали вдоль флажков проверить: я — вправо, Пенин — влево. На той стороне сойдемся.

Флажки были похоронены в снегу. Лишь кое-где сквозь белизну еле заметно, стыдливо розовел лоскуток. Я вытаскивал шнур из снега и, отряхнув, вешал ярко расцветающие флажки на ветки и кусты. Словом, готовил флажки к сматыванию на рамки... Шел, поторапливался и вдруг... вдруг увидел внутри оклада, шагах в пяти от шнура, ясный «тычок» следа (ища выхода, лисица как бы тычется в страшную линию флажков, ткнется — и назад). Тычок! И это перед начисто замеченными флажками! А может быть, они, невидимые, но еле пахнущие сквозь снег, еще ужаснее сторожкому зверю? Впрочем, под снегом был еще и наш след: он тоже имел запах для лисицы.

Дальше я шел уже не так беззаботно, зорко вглядывался в снег, в чащинки ельника и кустов... Шел и теперь уже потщательнее вешал флажки... Не прошел и сотни метров, как опять присыпанный снегом тычок! Неужели «она» здесь? Не верилось, но тычки кри-

чали: да, здесь! Впереди с елки посыпался снег... Показалась темная фигура...

Я прошептал Михаилу Ивановичу:

— Ну, что? Что у вас?

— Да, разумеется, ничего. Ушла. Флаги надо собирать.

— Да тише вы!.. — и я рассказал, что видел.

Михаил Иванович не поверил:

— Да быть этого не может!

Я потащил его к ближайшему тычку...

Но до чего же робка была лисица! Ткнулась во флажки раз-другой и отчаялась! Отчаялась и ушла в глубь оклада и таится там!

Стрелковый номер был ясен: конечно, у нор. Там и стал мой гость. Я начал осторожно гнать с другой стороны. Полез в чашу, и сколько же снегу опять приняли моя голова и плечи! Но приходилось терпеть...

— Го-гоп... Го-гоп!..

Недолго я гопал. Стукнул выстрел Пенина, и я — опрометью к Михаилу Ивановичу:

— Где она? Показывайте!

— В кулаке! — ответил шутник и разжал руку.

На ладони у него лежал клоч длинной сероватой шерсти с подпушью.

Ожидая зверя из «нутра» оклада, Михаил Иванович прозевал. Лисица кралась у него за спиной, между ним и флажками... Заметил он, лишь когда рыжее мелькнуло в гущу мелких елочек. Пальнул навскидку, и вот трофей — клоч шерсти из хвоста!

А теперь ушла или нет?

Обежали мы оклад с двух сторон, встретились: выхода нет.

— Ну, Василий Иванович, ваша очередь на номере стоять.

Возле нор лисице задано страху, туда не скоро сунется — нужно остановиться у «тычка». Стал я там. Загонщик, как полагается, действовал деликатно — ходил около своего края, покрикивал:

— Эй-эй!.. Эй-эй!

Я весь внимание (не прозевать, как Пенин!)... Осторожно поворачивал я голову вправо, влево, вправо...

Вот мелькнет между елочками... еще мелькнет...

и вдруг вся как на ладони встанет, замрет, увидев флажки... Замру и я перед этим золотистым чудом... Как гармонично окрашена лисица — от черных ног и кончиков ушей до целой гаммы переливающихся друг в друга рыжих, желтых, седоватых тонов!.. А как точны и легки движения зверя! Вот мелькнет... Только не торопиться! Никаких резких движений!.. Стоял я, ждал... больше часа ждал... А мороз крепко пробрал!

Наконец появился Михаил Иванович:

— Не приходила? Я сейчас всю правую половину прошел — ни единого тычка! Верно, ей ход не сюда, на север, а на южную сторону оклада.

— Вот и валяйте, Михаил Иванович, станьте на юге. А я погреюсь!

Долго я гопал, сначала осторожно, держась у края, потом стал все смелее забираться внутрь. Сколько же троп и дорог наторила лисица, пока мы ее гоняем, как искрестила она середину во всех направлениях! Изобрела, значит, свой метод спасения, догадалась что от флажков добра не жди... Я стал кружить в середине оклада, где лес был погуще. Выжму же когда-нибудь лисицу к краю! Кружил, кружил и, к великому удивлению, обнаружил, что зверь принялся ходить за мною, ступая в следы моих ног! Сомневаться не приходилось: лисица поняла, что в чаще я ей не опасен. Вот и считай, что звери не соображают!

Больше часа я маялся без толку: лисица ни за что не расставалась с центром круга! Подошел я к Пенину, а у него зуб на зуб не попадает:

— Еще бы чуть, — сказал он, — и я стал бы сосулькой!

Пробежались мы, он согрелся. Тогда сели на валежину, вынули из-за пазух пироги... А потом была моя очередь стоять на номере.

И вопреки всем правилам пошел я в самую середину, где в редковатом крупном ельнике с гущичками елового подроста лисица просновала много раз. Я стал за упавшей елью, по грудь укрытый хвойстыми сучьями.

— Эй-эй!.. Эй-эй!.. — покрикивал Пенин, а я опять думал о лисице, о золотом чуде на снегу...

Но к любованию прибавилось и раздражение: черт

бы взял это чудо! Охотнику ведь в голову не придет, что лисица вовсе не обязана лезть под выстрел!

— Эй-эй!.. Эй-эй!..

Михаил Иванович кричал все громче, все чаще; он тоже потерял терпение и злился на негодяйку, возмущался ее «ненормальным» поведением, не позволявшим убить ее так же просто, как многих других...

— Эй-эй!.. Эй-эй!.. Эй-эй!..

И вдруг сквозь хвою своего укрытия я заметил: рыжее мелькнуло! Один миг — и вот она, лисица, выскочила на чистинку, всего метрах в трех от меня. Остановилась и слушает... «Эй-эй!.. Эй-эй!..»

Я даже не обрадовался, замер... Смотрел, как перекатывается мех при малейших движениях зверя... Видел, как жарко дышала она, видел, как висящий из пасти язык быстро-быстро двигался в такт учащенному дыханию... Навскидку стрелять? Но слишком легко промазать, а то просто не успеть; ведь малейшее шевеление она услышит и одним прыжком скроется в сугробе, нависшем на кустах... Выждать, пусть пойдет!

Все эти мысли пронеслись мгновенно, а лисица вдруг повернула голову и, задрав морду с красным языком, глянула прямо мне в глаза... Тотчас метнулась!.. Мой выстрел был только салютом.

Примчался Михаил Иванович:

— Поздравлять? Где она?

Я лишь рукой махнул. Ведь я не мог ему показать даже клочка шерсти.

Отбывать дежурство на номере (в третий раз!) мой сменщик отправился на норы: лисица опять стала их проведывать. Я погнался.

— Го-гоп!.. Гоп-гоп!.. Гоп-гоп...

Хожу — кричу, хожу — кричу...

Стукнул выстрел... через секунду — другой... Слава богу! Конеч! И я бегом... Подаетел к Пенину:

— Ну?

— Да черт ее знает... пошла... — Михаил Иванович был очень смущен.

Мы обследовали место. Вот след лисицы, вот по нему прочертила дробь, вот зверь поскакал назад... Крови на следу порядочно.

Мы пустились по этому следу, выскочили на полянку... Здесь лисица каталась, затирая рану о снег,

окровянила его... А потом пошла почти без крови! Теперь она так напугана, что ее и вовсе не выгонишь из чащи... Сели мы думать. И вдруг с неудовольствием заметили: смеркается! Нужно было действовать круто! Я сбегал за Гобоем и Лютней... Как они обрадовались, как рвались, как волокли меня, когда я возвращался с ними к окладу!

Спуская собак, я сильно сомневался, найдут ли они зверя. Ведь в кругу лисица избегала так, что от ее троп живого места нет.

Но для моих удалых гонцов тут никакой проблемы не существовало. Они ринулись стремглав куда-то вперед, и не прошло и трех минут, как ревели, погнались, варом заварили, как говорят заядлые гончатники.

Под таким папором вся мудрость лисицына улетучилась, и она махнула через флажки, будто их и не бывало! Гон быстро сошел со слуха. И опять нам ничего не оставалось, как бежать следом. А вечер «накрывал», делалось все темнее.

Гонный след целил прямо к Совцам, а в Совцовском овраге таились норы и лисьи, и барсучьи... Бежали мы, бежали, до Совцов оставалось каких-нибудь четверть километра, и я уже решил про себя, что все, как говорится, кончено, лисица понорилась, как вдруг совсем уж впотьмах наткнулись мы на наших собак. Навстречу нам выбежала, радостно извиваясь и виляя хвостом, подхалимка Лютня, а чуть за ней возле задущенной лисицы лежал Гобой. Хвостом-то он повиливал, но расстаться с добычей духу не хватало.

Не дотянула наша мучительница до нор — до своего спасения...

Пришлось нам, конечно, возвращаться за флажками, собирать их. Но мы не чуяли усталости после такой трудной, но все же полной победы!

Совсем уж ночью прибрели мы к Харитоновне.

Какая это благодать сидеть за самоваром после такого поистине трудового дня! Как очаровательна яичница с салом! Не по одной стопке выпили мы с Михаилом Ивановичем и с мало отстающей от нас Харитоновной за победу, а еще выпили по особой за «открытие»: гончие плюс флажки — это вещь!

А я про себя еще думал: «Хорошо с таким покладистым и веселым товарищем!»



Наказание

Прасковья Федоровна совсем потеряла голову: пропал Рекс! Московский инженер Петр Алексеевич Елин, уезжая в конце сентября, оставил своего спаниеля у нее в Порошине до октябрьских праздников: пусть собака лишний месяц вольно побегает по зеленой деревенской улице — насколько же это лучше сворки и московского асфальта!

Спаниель с кофейной шелковистой шерстью, красивый и ласковый, дружил со своей хозяйкой. Еще бы! Ведь каждое чаепитие (а бабка любила чаек!) — это обязательно Рексу кусочки сахара.

Жизнь шла по порядку целый месяц. И вдруг 30 октября кобелек пропал: после обеда попросился на улицу и до вечера не вернулся. Уж бабушка кликала, кликала его, но все зря.

— Ох! Да что ж это! Ох! — причитала она, без толку мечась по избе и по улице (недаром покойный муж за сполошность звал свою малорослую Паню Пошешенькой).

Рекс к ночи не явился, но Прасковья Федоровна все равно завалилась спать в девять часов. Мол, умаялась: козу доила, кур кормила, овец загоняла — это ли не труды? Легла и уснула — как ключ на дно. А дверь с улицы не затворила и в сених постелила старый ватник: авось Рекс вернется. Но наутро ватник оказался незанятым.

— Ох, батюшки! Ох, беда! Да что ж это с собакой подеалось? Уж не злой ли человек украл? Уж не волк ли сгрэб? Уж не попал ли Рексушка на худой след? Ох, горюшко! Не утоп ли?

И побежала старуха по колодцам. В каждый, в сырую тьму заглянула, в каждом жердью-крюком пошарила. Нету Рекса!

Всплакнула Пошешенька и поплелась домой обедать: не быть же из-за пса не евши! Только села за стол — стук-стук в окно. Это подъехал верхом племянник Николай, бригадир трех деревень — Порошина, Гридина и Сушкина. Он не стал слезать с седла.

— Тетка Паня! Рекс тебе из Гридина поклон прислал. Велел передать, что к Мишкиной Жучке сватается, так домой побывать недосуг. Я было поймал Рекса, даже на лошадь с ним сел. А он как рванется! Скок наземь! Ну и завинтил к свадьбе, к Мишкиному двору.

— Что ж теперь делать, Коля? Ежели к вечеру не придет, сама завтра побегу в Гридино!

*

Вечером к Прасковьиному крылечку прифукал мотоцикл. Прибыл Мишка Лизаров — парень двадцати трех лет, рыжий, краснорожий, брови черные, толстые губы — на студень хороши, нос — хоть пашенку паши.

В прошлом году он вернулся из армии и, как ни зывали дружки в Ленинград — в маляры или в каменщики, — не поехал. Не выманишь Мишку из деревни от тетеревов да от уток.

Мишкина мать Марья Наумовна, первая доярка в колхозе, зарабатывала — дай бог! Лафа парню! На маткины денежки купил мотоцикл, гармонь и, уж конечно, ружье-бескурковку.

— Бабка Паня! Ты о Рексе не тужи. Ему худа не придет. Я его с Жучкой в хлеву запер.

— Ах ты гадова душа! Как ты осмелился Рекса запереть? Знаешь ли ты, негодяй, какой Рекс по охоте ценный?

— В том и дело, бабушка. Пускай щенята охотные будут. Мне до зарезу стоящая собачка нужна. Сама-то Жучка дура дурой, пустобрёшина.

— Эх ты Мишка! Нахалюга ты, больше никто! А коли Рексов хозяин проведает, что Рекс с Жучкой гулял, ведь мне голова прочь!

Мишка выскалил в улыбке крупные желтые зубы:

— Цела будет твоя голова. Дураков нету хозяину высказывать! Не робей, не узнает. Я за то тебе три воза дров нарублю, ко двору приставлю.

Знал, хитрец, чем кунить бабку! Разве в силах одинокая старуха устоять против дров? Что из того, что племянник навозил ей долготья на два года, а дочка с мужем, когда были в отпуску с завода, распилили

дрова на швырок? Бабке все мало. Алчный огонек зажегся в Прасковьиных выцветших глазах:

— Ой, Мишка ты Мишка! Поди, обманешь?

— Что ты, бабушка Паня! Вот те крест!

— Ну смотри же! Только Рекса не держи долго.

А то Петр Алексеевич к октябрьским праздникам сулился.

Мишка побожился, что не подведет, и верно, 3 ноября привел Рекса. Спаниель без памяти радовался, прыгал вокруг бабки...

*

6 ноября приехал Петр Алексеевич. Три дня ходил он по светлому и вместе с тем суровому ноябрьскому лесу. А ходить он был мастер. Не зря Федоровна говорила: «Высокущий, а ноги долгие, что у журава». Ходил он и любовался мохнатым инеем на травах и на деревьях, ходил и был счастлив тем, что послушал перепархивание рябчиков и могучие глухаринные взлеты, что поглядел на белоногого лося в короне рогов, на снежного беляка, промазав по нему... Елин увез Рекса в Москву, не подозревая, сколь серьезные будут последствия пребывания спаниеля в гостях у бабки Прасковьи.

*

Жучка оценилась около Нового года. Сколько было всех щенков, неизвестно; Мишка оставил только для себя одного самого крупного черного кобелька. Марья Наумовна не жалела для сыновей забавы ни молока, ни мясных щей, ни творога. А Жучку Мишка сбыв в Сушкино.

И выросла из щенка крепкая собака. Назвать щенка хотели Рексом, но кто-то сказал, что Рекс по-русски «король». Тогда решили мать и сын Лизаровы: быть черному Королем! Помесь спаниеля с лайкой — что тут хорошего? Но Король, как маленькая красивая копия, походил на среднеазиатскую борзую — тазу: та же голова с длинной мордой и висячими ушами в длинной мягкой шерсти, такие же стройные ноги, подбодристый живот, хвост с подвесом, свернутый на конце в кольцо. Только рост не как у борзой.

Еще щенком Король привык к выстрелам Мишки по воронам, полюбил таскать в зубах щепки, палочки, тряпки. Кинь да крикни: подай!

Ему не было и семи месяцев, когда хозяин повел щенка на озеро Хлопотное. До открытия охоты еще недели три. Но неужто Мишке столько терпеть? Самое время ему начинать, когда кряковые утята подросли, но еще не летают.

Вышли в сумерках, когда на востоке над темной стеной леса разлилось розовое сияние. На западной стороне неба еще горели звезды. Над землей в низинах стлался туман, плыл клубами и над озером. Мишка побрел вдоль берега гущиной осок и ситника с разползшимися кустами ивняка.

Король трусил впереди, удивляясь хозяину: чего это он все: «Вперед, вперед! Ищи, ищи!»

Нос собаки поймал незнакомый, но почему-то влекущий запах — утки! Проснулась страсть, переданная предками — спаниелями и лайками. Хвост бурно закрутился, завилял. Михаил обрадовался:

— Тут, тут! Ищи!

Сквозь ивняк он увидел на воде, ярко-розовой под зарей, светлые полосы — утки плывут от Короля! Вон они!.. Грохнул выстрел, и одна перевернулась на спину. Остальные — кто нырнул, кто побежал по воде, шлепая уже оперенными, но еще нелетными крыльями.

— Возьми, возьми, Король! Подай! Подай! — азартно посылал Мишка.

Но это было излишне. Король и сам бросился, поплыл, схватил убитую утку, повернул назад и подплыл к огромным резиновым сапогам хозяина. Михаил, торжествуя, принял добычу. Охотник и смеялся, и обнимал собаку. На радостях отдал Королю пирог, взятый для себя. Но Король, потрясенный впечатлениями, не мог есть.

Пошли дальше. Король выгнал на воду утенка, видно, из того же выводка и сам бросился за ним в плавь. И после выстрела опять подал!

Охотник обнимал и целовал свою ненаглядную собаку! Восемь уток — вот каков был результат первой охоты Короля!

Дома Марья Наумовна не знала, чем и угостить

Короля: и пирогов-то ему давала, и студня целое блюдо навалила, и молока-то налила!

— Ну и собака! Ну и собака!

Потом Мишка в сопровождении Короля побежал в Сушкино, в магазин: надо ж вспрыснуть победу! Домой приплелся перед вечером и все целовал собаку.

*

Хлопотное — озеро небольшое, много ли там птиц? Два выводка кряковых да столько же чирков. Не надолго хватило этого Мишке с Королем.

Тогда взялись за боровую дичь. Сперва раза два приходил без добычи. Король путался в тетеревиных набродах, птица удирала в чащу. Но и неудачи шли впрок, давали опыт. В третий раз отправились сырым утром после ночного дождя. С травы, с кустов вода еще не стекла, но тетерева уже побрели кормиться. На мшарине с редкими соснушками и гонобольником, осыпанным голубыми ягодами, Король набежал на духовитую полосу знакомого, поразительно волнующего запаха. Хвост азартно завилял, забил по кустам. Великолепен тетеревиный дух!

Король в горячке заметался, и вдруг, жестко шумя крыльями, совсем рядом, квохча взлетела из травы рыжевато-серая матка, за ней серенький молодой... Выстрел!.. Старка упала камнем, а тетеребенок скрылся за сосенками. «Леший с ним! — подумал Мишка. — Главное, матку убить. А молодых доберем!»

Вечером он опять обмывал в Сушкине победу и обнимал Короля:

— Что за Королик! Что за умная собачка!

А Король воротил морду от поцелуев, разивших сивухой.

*

Неважная охота вышла в то лето у Елина. Про уток и говорить нечего: хоть бы разок сплавать Рексу, ну хоть бы за чирком! И того нет!

Не оказалось и тетеревов в любимых перелесках между Порошином и Гридином и возле Гридинских полей. Где в прошлые годы берсженные москвичом

тетерьки водили штук по восемь молодых, нынче мудрый Рекс бегал почти без задержки. Редко где чудом уцелел тетеребенок!

У Порошинских полей нашлись два выводка, но что два на весь сезон! И стал ходить Елин не к Гридинским полям, а на север, по Крестовой тропе. А там ведь всё песчаные бугры да моховые глади — некормные места для птицы!

*

Король был той удачной случайностью, какие встречаются среди деревенских беспородных собак. Красоты, стили в их работе нет, но сила чутья и сноровка такой собаки делают охоту с нею добычливой. Где пройдет Король — шаром покати! Ни единой птицы не пропустит! Однако палка о двух концах. Мишка на следующее лето вовсе не находил выводков на своих Гридинских полях. И смекнул парень: подчистую выбивать невыгодно. Решил: «свою» птицу не трогать — пусть копится. Зато стал таскаться к Порошину да и за него.

И у Петра Алексеевича охота пошла вовсе никуда! Многие рассказывали ему про браконьера и его Короля: вот собака — золото! Бьет Мишка птицу безо времени и без счета, но, мол, не пойман — не вор. Да и кому ловить? Колхозникам дела нет, а егерей тут и не видано. А билет охотничий Мишка выправил — ружье не отберешь!

Надумал Елин поговорить с Мишкой, усювестить.

В Гридине на крыльце лизаровской избы встретил его Король — грозный лай, шерсть дыбом! Вышел сам хозяин, цыкнул на пса, тот утих.

— Петр Алексеич к нам прибыли! Знаме-ик!-нитый охот-ик!-ник! — Икая и ухмыляясь во всю рожу, Мишка звал в избу: — Захо-ик!-дите, пожалуйста, бе-бе-седовать!

Хозяйки не оказалось дома. В избе было довольно чисто, но на столе стояла пустая поллитровка, видимо лишь опорожненная, валялись корки хлеба, обглоданные птичьими костями. Мишка и Елин сели.

— Охотиться приехали, Петр Алексеич? Хорошее дело! Даже — ик! — очень приятно — москвичи к нам

ездиют — ик! — гораз красиво у нас, местность веселая, воздух! Только птюшек мало — охота плоха!

— Про это я и хочу поговорить с вами, Михаил.

Елин замялся, смолк, глядя на грязные босые ноги Мишки с ногтями вроде бараньих копыт.

— Говорят, что вы бьете тетеревов за месяц до срока, утят нелетных.

Мишка перебил:

— Ну и вры! — Его красная рожа расплзлась в ухмылке, выскалив желтые зубы, распустив мокрые губы. — За месяц? — Мишка весело заржал: — Врут все, а вы врам всяким веру даете! Мы с Короликом вовремя ходим. Конечно, бьем помаленьку. С пустыми руками вертался б я, кабы не собачка удашная.

Елин еще заговаривал о сбережении дичи, о сроках, охране маток. Но ничего он не дождался, кроме зубастой ухмылки. Вдруг он представил себе: ну и смешон же я! Беспардонному браконьеру проповеди читаю!

А Мишка достал с полки другую бутылку самогона и второй стакан. Принес хлеба, огурцов. Елин отказывался, но хозяин пристал:

— Ик! Не обижайте! Ик! Будьте человеком!

— А, черт возьми! — с отвращением Петр Алексеевич хлебнул из стакана. «Идиот я! К кому пошел! Пакость какая! Лишь бы за дверь как-нибудь...»

А Мишку совсем развезло.

— Ппеттрр Ле...ксе...ич! Дд...руг! Пп...ей. Нне обб...ижжай! Ппп...ей, ссва...тток!

— Это почему же я «сваток»?

— Как ппп...очч...му? Мм...ая Жжжуч...ка с Рррек...сом... Ррр...екс ччч...етверро ссу...тток у ммм...еня хх...арчч...ился...

Елина как ошпарило! Только и не хватало, чтобы отпетый негодяй так попользовался Рексом! И Петр Алексеевич — скорей на улицу.

Ну и задал же он жару Прасковье Федоровне!

— Как допустила! Я цепь для Рекса оставил! А ты допустила, что он шлся черт знает где! У Мишки четыре дня! А ты даже и не искала! Всю охоту мне загубила! Нарочно, что ли, ты мне напортила?

Пошешенька божилась, что везде, везде, даже в колдцах, искала...

*

Пришел в Порошино престольный праздник. Хозяйки наварили, нажарили, напекли для гостей на целых три дня. В каждом доме набралось гостей «со всех волостей». У одной бабушки Пани гостило немного — дочка с мужем-шофером да двоюродный брат с женой — пожилые колхозники из Крестов. Ну ели, конечно, пили, а потом спали — ни шума, ни скандала, не то, что у других людей, где выпивали лишку.

Очень понравился Елину Прасковьян братеник Никита Нилович — добродушный, еще сильный старик с широкой проседлой бородой. Он пришел с войны хромой, но охоту не бросил. Беседуя с москвичом, он жаловался, что недруги отравили у него собаку.

— Такая славная была остроушка. На всякую птицу шла и белку лаяла. Да на белку наплевать, их и без собаки на перебегах да на слух настреляю. Главное, на птюшек без собаки труба!

*

К третьему дню праздника гостей в деревне побывало. У бабки Пани остались лишь Никита с женой да Елин, которому еще рано было ехать в Москву. Лишь сели завтракать, как с улицы донеслась песня, а вернее, рев: деревней брел развеселый Мишка.

Брел и хватался за стены, за изгороди. Раненько же «повезло» ему где-то!.. Рев прервался, под окном послышался стук.

Прасковья Федоровна отворила окошко:

— Чего ты, Мишенька, стучишь? Нету вина у меня!

Мишка уперся руками в стену и получил таким образом устойчивость. Поодаль, опустив хвост, смущенно моргая, стоял Король.

Ноги у Мишки подгибались, но, хватаясь за стену, он добрался до крыльца, сел на ступеньку. Из окна высунулся бородатый Никита.

— Складный пес, — сказал он Петру Алексеевичу.

— Это еще что «складный»? Добычлив на диво. Мишка с ним всех тетеревов, всех уток выбивает да еще до срока начисто лес грабит.

— Вон он какой, Михаил, скотина губастая! — возмутился Никита. — Миша, — сказал он, — я достану тебе вина, ежели Короля продашь.

— Ппррро...дам! Дд...вай лл...итру — бе...рии Кк...рля, к ччер...ттовой мма...ттерри!

Сделка намечалась верная. Но где взять сию минуту водку?

— Пáнюшка! — шепнул хозяйке братеник. — У нашего Николая гостей еще много. Небось, вина приберег. Выпроси! А я до обеда в магазин слетаю, отдадим!

Попешенька смекнула: сбить Короля в Кресты — перед Елиным оправдаюсь! Сходила к племянничку, принесла под фартуком. Прошмыгнув крыльцом мимо осоловелою Мишки, подала брату.

Никита Нилович вышел на крыльцо. В руках у него поблескивали посудыны. Мишка встрепенулся:

— Ммос...ковв...чка! — и встал, перехватывая руками столб крыльца.

Никита стоял против него:

— Ну как, Миша? Продаешь кобеля?.. Смотри же, Михаил. При свидетелях — при Петре Алексеевиче, при сестре Пáne беру собаку за литр вина. Продаешь?

— Чч...го инну...дишь? Сс...к...зал, пррр...даю! Ввссё!

А Король, стесняясь в чужом месте, лежал, отвернувшись, в сторонке на мураве залуговелою Прасковина проулка.

— Ну, коли так, давай собаку на привязь.

— Ннне...е! Он сссмм...ии...рренный.

Пес подошел к хозяину, уныло повиливая опущенным хвостом.

— Не укусит чужого-то?

Елин подал в окно Рексову цепочку, Мишка сам зацепил карабин за кольцо ошейника, и оробевшего Короля привязали в сенях.

Лизаров засунул поллитровки в карманы штанов.

— Пп...йду к Ггг...авр...юшке. Ммы у нне...го все ккончили...

*

Праздник отшумел. Но его последствия проявились и на следующий день. Поутру за чаем Елин и

Прасковья видели в окно, как Мишка с опухшим лицом и ссадиной на лбу брел в Гридино.

— Здравствуй, дед Саша!

— Здорово, Миша!

— Не видал, дедушка, моего Короля? Мы с Гаврюхой вчера крепко долбанули, а кобель куда-то подевался.

— Это, брат, трезвый пьяному не товарищ. Сами пили, а собаку не потчевали, — посмеялся дед. — Он, гляди, домой смылся.

И побрел Мишка мимо затаившихся за окном участников вчерашней купли-продажи. Ничего-то он не помнил!

Однако вечером Михаил заявился к бабке Пане. Вошел, стал посреди избы, лицо злующее:

— Баба Панька! Люди видели, Никита Короля на цепи волок. Быдто на Крестову повел. Так аль нет?

— Так, — сказала бабка медовым голосом. — Дак ведь ты пса продал.

— Что ты брешешь! За сколько ж я, по-твоему, продал?

— А ты, Мишенька родный, не за деньги, за литру вина отдал.

— Баба Панька! — грозно стал наступать Мишка. — Что ты порешь? Да я Короля ни за сто, ни за двести рублей не отдам. Говори, как твой Никитка мою собаку украл? Как ты смела пособлять, змея?

Но Петр Алексеевич подтвердил, что действительно при нем Михаил продал Короля Никите Ниловичу именно за литр московской.

— Обман! Пьяного тут ограбили! Бабка Паня! Петр Алексеевич! Я в суд пойду — будьте свидетели, что Никита пьяного обокрал!

Но Елин отрезал:

— Никакого грабежа нет. Вы по доброй воле при нас, свидетелях, продали собаку. Еще сказали: на хрен мне Король. Я еще не такого сыщу. Какую цену вы назначили, столько вам и дали.

Мишка озверел:

— Врете вы, проклятые! Подстроили, гады! — и начал так выражаться, что Елин надвинулся на скандалиста вплотную и с высоты своего «высокущего» роста гаркнул:

— Пошел вон!

Мишка попятился к порогу. Елин вытолкнул его в сени... И дверь на крюк!

Лизаров долго еще бегал по деревне, орал...

*

Пришло новое утро. Выгоняя на заре в стадо козу и овечек, Прасковья Федоровна увидела шагающую по Порошину Марью Лизарову.

— Здравствуй, Наумовна! Далеко ли наладилась? Марья остановилась.

— В Кресты, к твоему двоюродному. Он нашего Короля увел. Мой Мишка, знай, твердит, что у него, у пьяного, собака обманом взята. Никита подстроил, что Мишка у него литру взял быдто за собаку.

— Так, Наумовна, Мишка пришел к нам, вина требовал. Дай литр — бери собаку. Гораз загорелось ему! А Никита, не ведаю каким чудом, вина нашел. Мишка и отдал Короля. При мне сам цепочку к ожерелку цеплял.

— Мошенство! За литр такую собаку! Да ни за тыщу Мишка не отдаст!

Бабка Паня маслила:

— Чего я понимаю, милая ты моя? Мужики про-
меж себя сладились. Нешто я в мужичьи дела сунусь?

Марья плюнула и широким шагом пошла на Крестову тропу.

На обратном пути, отмахав за день тридцать километров, Марья шла порошинской улицей уже в сумерках. Злая шла, что туча темная. Короля, конечно, при ней не было. Прасковью любопытство томило:

— Зайди, Наумовна, отдохни!

Но та даже не оглянулась и прибавила шаг... А до-
шагав домой, Марья сказала сыну:

— Не отдал. И разговаривать не стал. А Короля в Крестах нигде не видать. Никита, небось, у приятелей прячет.

Мишка с воем повалился на кровать...

В августе Елин наслаждался охотой, как давно не приходилось. Тетеревиных выводков было хоть и не столько, как в «докоролевские» времена, но все же вполне достаточно.

И, что особенно дорого, они были нетронуты или почти нетронуты, при всех здравствовали матки.

Без Короля бессовестный Мишка остался как без рук.

Петя и Анна Ивановна

Под Валдаем моховых болот много, а поля маленькие, вот тетеревиные тока и собираются чаще всего на моховых гладях. Таков и Алешинский ток, на котором я в ту весну первого мая открывал весеннюю охоту.

От деревни до тока километров пять. Ходу, значит, ночью по вешней распутице, да вдобавок по болоту, часа два. Выходить из дому нужно не позднее часа ночи: ведь в начале четвертого начинает светать, и тетерева уже вылетают на токовище.

С вечера задумал я подремать, а своей хозяйшкe, одинокой, старой колхознице Анне Ивановне, наказал, чтобы подняла в половине первого.

Лег, заснул...

Разбудил меня тревожный голос. Анна Ивановна «шумела» со своей кровати:

— Василь Иваныч! Василь Иваныч! Погляди-ка на часы, не пора ль тебя будить? Сама, видно, поленилась встать, посмотреть на стенные часы.

Я протер глаза, взглянул на ходики:

«Ох, чтоб тебе пусто было! Еще только половина одиннадцатого!»

Снова я улегся, но, рассерженный, забылся не скоро.

И опять:

— Василь Иваныч! Василь Иваныч! Погляди, который час? Может, тебя будить пора?

На этот раз было только половина двенадцатого. «Ох, черт возьми!» — изругал я в душе Анну Ивановну и в третий раз попытался уснуть.

Совершенно выбитый из сна, я долго ворочался,

слушая сладкое похрапывание мгновенно заснувшей старушки, долго не мог преодолеть раздражение, наконец задремал... Внезапно проснулся: часы показывали уже без четверти два, а моя Анна Ивановна все так же безмятежно похрапывала. Проспали!

Пришел я к Алешинскому болоту чуть не в мыле, а все-таки опоздал. Восток уже начал алеть, и лишь спустился я с борового кряжа в мох, как послышалось со стороны токовища: «чу-фы-ш-ш!..»

Вылетели!

Что же делать теперь? Идти домой?

Но не раз ведь приходилось: в потемках сгонишь тетеревов с тока, а посидишь в шалаше, подождешь — они и вернутся.

Приближаясь к току, я слышал сквозь чавканье под ногами, как взлетели невидимые впотьмах тетерева, но все же забрался в шалаш, устроился там и затих. Была надежда, что птицы прилетят: ведь шалаш поставлен заранее, они привыкли к нему.

Невдалеке, на этом же моховом просторе, журавль сыграл на трубах свою победную и в то же время грустную песню, где-то на краю болота чуфыкнул тетерев, в стороне отозвался другой... Эх, разогнал! Долголько их теперь прождешь!

Грянул в болоте и эхом раскатился в прибрежном лесу хохот самца белой куропатки.

Чем скучать без дела, дай поманю его! По крайней мере, проверю, насколько он вылинял к маю.

Высокому искусству манить я обучился здесь, в валдайской деревушке, еще у старых охотников, лет сорок назад. Чего греха таить, они по веснам били куропаток на манку. Когда я сказал деду Ивану Семёновичу, что это запрещено, тот не поверил:

— Ты не путай! Тетерева и глухаря весной бить можно, а куропатку нет? Ишь, что выдумал!

Манил дед мастерски и взялся учить меня, а выучив, сильно сердился:

— Коли ты их не стреляешь, так на кой леший я с тобой время проводил?

Теперь, сидя в шалаше на Алешинском току, я начал манить:

— Кням, кням, кням, кням...

Слышу: «Ах-хах-хах-хах-хахаха-а-а...»

АД...

Летит!

Еще: «Кням, кням, кням, кням...»

Опять: «Ах-хах-хах-хаха-хахаха-а-а...»

Перелет сделан совсем недалеко. Отчетливо слышно, как с посадки куропат на бегу приговаривает: «По рылу, по рылу, по рылу...»

Вот он смолк. Должно быть, оглядывается, где же она?

Вот потихоньку он стал уговаривать баском: «К-вам, к-вам, к-ваам, к-ваам...»

Снова затих, выглядывает...

Теперь манщику нужна большая осторожность: не ошибись! А то сразу кавалер догадается, на близком-то расстоянии и малейшую фальшь заметит! Я ему только два разочка:

— Кням, кням.

Слышу, взлетел: «Ах-хах-хах-хах-хахаха-а-а...» — и садится чуть не у самого шалаша.

«По рылу, по рылу, по рылу...»

Пробежал немного, остановился: что, мол, за оружие такое на гладком месте?

Вот он шагах в семи между кочками, весь белый, только шея красная да на плечах будто погоны краснеют.

«К-вам, к-ваам, к-вааам...» — убедительно так выводит куропат. Откликнись, мол, дорогая! Должно быть, пригляделся, понял, что страшного ничего нет: те же сосенки, что и по всему болоту растут, только слишком густо собрались, какая ж в том беда?

«К-вам, к-ваам, к-вааам...» — да где же она, в самом деле?

И куропат припустился бегом вокруг шалаша, вдоль самых комельков сосенок, воткнутых в мох. Слышно, как ножки птицы шуршат по подсохшему мху и реденьким кустикам подбела.

Я замер, не дышу, чтобы не спугнуть белого приятеля, хотя, по правде говоря, на что он мне нужен?

Временами он останавливается и, вытягивая шею, выглядывает: да куда же она запропастилась? Звала, княмкала, а теперь, извольте радоваться, как сквозь землю провалилась! И пегушок опять торопливо пускается на поиски невидимой подруги вокруг шалаша: ведь он, слава богу, не глухой, ясно слышал, что она

подавала голос именно здесь, около этой гущи сосенок. Он описывает вокруг меня три кольца и вновь в недоумении останавливается.

«Кок, кок, кок-кок! Ко-ко! Ко-ко! Ко-ко! — произносит куропат негромко, но все чаще и чаще. — Ко-ко, ко-ко, кокококо...» Наконец звуки превращаются в дробь и сыплются, сыплются. Я замер, превратился в истукана. Ведь белый ухажер ходит вокруг шалаша всего в каком-нибудь метре от меня.

Тетеревов не видно и не слышно, должно быть, слишком не понравилось им мое вторжение на болото, может, и погодой недовольны.

А куропат все ходит кругом. Я и счет потерял виткам! Сам все сижу и не смею шевельнуться по старой, неистребимо въевшейся охотничьей привычке: не спугнуть!

Зачем мне зябнуть и мучиться, отсидев ноги? Они болят, они совсем онемели... Так нет же! Живущий в душе охотничий бес не допускает расправить ноги: спугнешь, улетит! Не смей!

Сижу и взаправду начинаю застывать: утро-то с морозцем!

«К-вам, к-ваам, к-вааам...» — басит куропат, вышагивая вокруг шалаша: вновь и вновь останавливается и начинает тихим голосом уговаривать: «Кок, кок, кок-кок! Ко-ко-ко... — все чаще и чаще, и снова переходит на дробь: — Кококококококококо...»

Я, конечно, помалкиваю, а сам думаю:

«Черт бы тебя побрал! Долго ли ты еще будешь мучить меня? Неужели не можешь убраться подальше?»

Прошло уже с полчаса этой пытки, а куропат и не думает расставаться со своей мечтой. Он все настойчивей. Вот, найдя в стенке шалаша местечко пореже, как раз там, куда протянулись мои ноги, он просовывает в шалаш свою рыжую шею. Поглядев, не белеет ли где-нибудь она, он убирается восвояси и опять пускается в круговую. Ох, черт!

И вдруг я слышу шуршание подозрительно близко за спиной и через мгновение вижу куропата, пробирающегося вдоль самой моей левой ноги... Цап! — левой рукой за спину птицу вместе с крыльями. Перехватываю правой и мигом сую в рюкзак. И так все

удачно вышло, что куропат даже не трепыхнулся, а во тьме мешка и вовсе затих.

Конечно, добывать весной белую куропатку недопустимо, но мыслимо ли удержаться в подобных обстоятельствах, чтобы не попытаться поймать столь занятную дичину руками?

Уже совсем рассвело. Красная зорька становится все ярче и вместе с тем меняет багряные краски на позолоту. Она как будто собирает всю силу своего блеска к одному месту — вот-вот здесь явится солнце.

И оно вдруг высовывается из-за дальней кромки леса, яркое, румяное. Каждый раз, когда я вижу ясный весенний или летний восход, я не могу отказаться от мысли о какой-то удали солнца, отважно врывающегося в мир земной и заставляющего все на свете играть новыми красками.

Не раз видел я, как тетерева на току примерно за полчаса до восхода прекращают игру и сидят как воды в рот набрав, разве что поклевывают прошлогоднюю клюкву возле своей в драках отвоеванной токовой кочки. Но стоит солнцу показаться над горизонтом и брызнуть розово-золотым сиянием на мох болота, как ток приходит в движение, начинается перечуфывание косачей, они ярятся, подлетывая кверху, и один за другим принимаются бормотать-бурлить. И ток закипает в полную мощь.

...А сегодня что-то тетеревов ни слуху ни духу. Даже солнце не в силах разжечь тока; сильно же я расстроил петухов!

Посидел я, посидел еще минут двадцать и — нечего делать! — побрел в деревню.

Дома я прежде всего показал патронташ своей хозяйке:

— Видишь, все патроны целы?

— Ну вижу. Опять ничего не убил! Ходишь, ходишь, а ничего не приносишь!

— Патронов не тратил, а птицу принес! — похвастал я.

— Неужто нашел убитую? Небось, протухла твоя птюшка.

— Не протухла...— И я вытащил из мешка свою добычу: — Гляди, руками поймал.

Куропат стал вырываться, вертел краснобровой го-

ловый на рыжей шее и произносил невнятные звуки, доказывая свою «живность».

— Ой! Да живой! Да как же ты ее, Василь Иванович, поймал?

И я рассказал Анне Ивановне, как подманил, как схватил.

— Ой да Василь Иванович! Ну и охотник! Ну и ловок!

Я смастерил клетку из древнего сундука без крышки, на место которой прибил старую проволочную сетку от веялки. Одна из стенок сундука стала дном клетки. Это дно я выстелил мхом, чтобы у пленника хоть под ногами было что-то знакомое. Куропата мы с Анной Ивановной поместили в холодной, нетопленной половине дома.

Приходили соседи, дивились на небывалую добычу:

— Это что! Ой, да как это ты сумел!.. Руками? Ой!..

Этим «ой» конца не было! Интерес был такой, как будто куропат имел ранг не ниже жар-птицы.

Да, но чем же кормить пленника? Конечно, клюквой! Благо у Анны Ивановны нашелся запасец этой доброй ягоды.

Пока я засыпал горсть ягод, куропат отчаянно метался по клетке, да и потом, пока я наблюдал за ним, он сидел неподвижно, в страхе забившись в угол, даже и не думая взяться за еду.

Я ушел в жилую половину дома, чтобы не волновать птицу. Когда же через полчаса проведал ее, ни одной ягодки не оказалось. Я насыпал еще горсть клюквы. Результат был тот же. Быстро же акклиматизировалась птица!

Колхозный бригадир Алексей Михайлович выдал из кладовой граммов по сто овса, пшеницы и гороха. Овес и пшеницу куропат принял благосклонно, а горох — никак.

На другой день мы с Анной Ивановной вели беседу о судьбе белого товарища...

До Отечественной войны я останавливался в Заозерье у закадычного друга, заядлого охотника, Василия Сенина. А теперь ни его, да и никого из прежних охотников в деревне не стало. Вот и гощу у Анны

Ивановны. В большом семействе жила она прежде, да не повезло: отец с матерью умерли, а братья — кто на фронте погиб, кто где, а последний — в известковом карьере обвалом убит. Вдовы братьев с ребятишками разъехались кто куда. Сама Анна Ивановна замужем не была, браковалась сельскими женихами из-за ноги, сломанной еще в детстве. Так и осталась она на старости лет одна-одинешенька. Много видела горя и в своей семье, и у соседей...

— Так что же делать с куропаткой будем? Может быть, в Москву в зоопарк отдать?

Анна Ивановна возмутилась:

— Охотился, трудился и отдавать? Подержи ты птицу. Яиц нанесет.

— Какие там яйца! Это же петух.

— А петух — так сварить его, да и дело с концом.

— Нельзя, Анна Ивановна, весной куропаток стрелять запрещено.

— А ты и не стреляй. Зарежь — вот и прав будешь.

— Да это ж все равно. Бить нельзя, уничтожать.

— Это почему ж? Добро бы саму курицу-куропатку — ну ей, известно, весной цыплят высиживать да воспитывать. А петуху что? Он только болтается со всеми куричонками направо-налево.

— погоди, Анна Ивановна, не так! Ни с кем куропат направо-налево не болтается. У него есть одна законная жена, они парой и выхаживают цыплят.

— Ну, если так, тогда другое дело. Тогда какой же он петух? — Анна Ивановна усмехнулась. — А еще Петей назвала я... Эх, небось, убивается евонная-то женка! Куда пропал?.. Это все равно как у нас Таня Мишкина. Его, Мишки-то, по два, по три дня дома нету, а у нее все сердце выболит. Тоже и с мужем горе горькое! Она мучится, страдает, а он пьянствует. Потом бредет домой, корячится, что расшира пречистая, бельма пучит, а слова сказать не может. Такого и ждать-то не стоит!.. Зарежь ты его! — неожиданно добавила моя хозяйка.

— Анна Ивановна, за что ты на птицу негодуешь? Разве куропат станет пьянствовать?

— А ведь твоя правда.

— Знаешь что? Снесу-ка я Петю да выпущу на Алешинском болоте.

— В такую-то даль пойдешь? Да выпусти ты его вон за полем. Неужто он домой дорогу не найдет?

— Найти-то найдет, да не промешкал бы долго. А может, он там, на Алешине, супруге экстренно необходим, — пошутил я, впадая в тон своей собеседницы.

Анна Ивановна подумала малость и согласилась:

— Конечно, так он скорее к своей семейке прибьется. А то доброй как бы за какой-нибудь девкой не приударил. Вон Сенька Ключанов попал на лесозаготовки за Валдай да к девчонке и присватался...

Я перебил:

— У куропаток девушек сейчас нет. К весне все замуж повыходили.

И решили мы все же снести куропата на Алешинское болото.

Так я и сделал. Посадил отбившую трехсуточный арест птицу в мешок, вскинул рюкзак за плечи, да и марш в лес!

Самый выпуск я надумал сделать с Волчужника — это высокая, серпом изогнутая боровая гряда, отделяющая Алешинское болото от Павловского. Осторожно вынул я Петю и посадил на землю. Подозрительно поглядывая на меня, он пешком отправился по склону прочь. Я забеспокоился... Неужели что-нибудь в крыльях повредил, и птица не может лететь? Я махнул рукой:

— К-ы-ыш!

Куропат прибавил ходу и побежал быстрее. Но ведь если не полетит, то неминуемо погибнет. Лучше опять поймать да в зоопарк! И я бросился вдогонку... Но птица как ни в чем не бывало вспорхнула и быстро скрылась, мелькая между могучими соснами Волчужника...

Через день я опять сидел в шалаше на току. А ну-ка, Петя, как ты поживаешь?

— Кням, кням, кням, кням...

И, как полагается, послышалось: «Ах-хах-хах-хах-хахаха-а-а...»

— Кням, кням, кням, кням...

Опять: «Ах-хах-хах-хах-хахаха-а-а...»

И вот он, друг, бежит да приговаривает: «По рылу, по рылу, по рылу...»

Бежал-то он к шалашу, да не тут-то было! Шагах в пятнадцати задержался и начал свои круговые исследования. Запомнил, значит, урок!



Д ружба

Июнь. Жаркий день. От солнечных бликов у Вани устали глаза, ему очень трудно следить за поплавком. Еще томительней это потому, что пескари плохо клюют. В ведерке их только десяток, да и то два уснули: Ваня забыл сменить воду вовремя. Он и клёв-то нередко прозеывает, заглядевшись, как мальки брызгами скачут по воде: окунь гоняет.

А солнце заметно снижается. Эх! Не успеть живцов наудить! Настроение у мальчика и без того неважное, а тут еще непрощенный зритель: позади Вани стоит седоватый бородач с рюкзаком за спиной и смотрит, как плохи дела. Ваня все больше раздражается: ну чего не видал? А если старик не уйдет, так и донки на ночь ставить нельзя: вдруг утащит.

— Молодой человек! Вы бы попробовали с островка — взабродку. Там пескарьков скорей наудите.

Ваня хотел бы мрачно промолчать — какое дело незнакомцу? — но старик очень уж вежлив и приветлив, говорит «вы»... и у паренька не хватает духу:

— Да... Здесь скверно берет...

— Пойдемте, я укажу.

Они идут вброд на островок. Старый рыболов, оказывается, ловит способом, еще неизвестным Ване, — «в проводку». Удильщики стоят по колено в воде и пускают насадку по течению. Пескари так и рвут на ходу. Совсем другое дело!

— Я намерен из кустов глядел, как вы донки вытаскивали. На десять удочек щучка да окунек — вся и добыча. Какая это ловля! Бросьте донки. Кружки — вот красивая охота! Давайте на мою снасть половим, а

полюбится — свою заведете. Только кружки надо пускать, где течение тихое. Айда на Светлое озеро! У меня там и корабль есть.

До озера им недалеко: полкилометра берегом реки, а там в сторону метров двести. Светлое озеро — это старица, когда-то здесь было русло реки. В вешнюю воду озеро и теперь сливается с нею.

Длинное и узкое Светлое озеро тянется параллельно реке, окруженное пойменными лугами. Берега обросли ивняком, а в воде много тростника и, где поглубже, кувшинки. Как говорит Федор Фомич, «рыбе приют добрый».

Новые знакомые подходят к озеру там, где под навесом ивовых кустов привязан «корабль» — небольшая лодка-плоскодонка, неказистая, да зато надежно, по-хозяйски просмоленная.

Ваня садится на дощечку у носа, владелец лодки — на корму и ловко, бесшумно начинает отгребать веслом, широким, как лопата. Выехав на простор, старик достает из мешка кружки.

Он поручает Ване насаживать пескарей на крючки-якорьки, а сам потихоньку гонит лодку и пускает на воду наживленную снасть. Наконец все десять кружков настроены на дело.

Старый рыболов занимает наблюдательный пост, приткнув лодку к мыску. Ветра нет, и поэтому красные стороны всех кружков хорошо видны.

Федор Фомич покуривает трубочку и зорко поглядывает вокруг. Солнце совсем уже низко. Поют камышевки.

— Ваня... — шепчет старик.

Мальчик вглядывается, куда показывает старик, и замечает только движущуюся светлую полосу на темных отражениях береговых кустов.

— Что это?

— Крякуша с выводком. Только ты громко не говори: спугнешь!

И правда, вон — кучка серых, еще совсем маленьких утят, а впереди — и сама мамаша. Сердце у Вани замирает: дикие утки!

Выводок пересекает озеро, и Ваня слышит, как matka тихонько побрякивает, будто объясняет малышам, куда и зачем плыть.

— Ваня, — шепчет старик, — в заводину целят. Там тина, корм ихний.

Мальчик ликует, глаза его блестят.

— Ой! — спохватывается Федор Фомич. — Гляди! Ведь взяла! — Там, куда он гребет, видно уже не красное, а белое пятно на воде, оно быстро движется... Рыба опрокинула кружок, размотала лесу и пошла по плесу. Лодка настигает...

— Ну-ка, Ванюша, легкая ль у тебя рука? Тащи для почину!

— Давайте!

(«Ты» и «вы» как-то сами собой стали по своим местам.)

Ваня поднимает кружок и, перехватывая лесу, чувствует редкие крепкие толчки сопротивляющейся рыбы, она даже на миг выпрыгивает из воды. Дядя Федор тут же определяет:

— Неплохая щучка, с килограмм будет!

Ваня подводит щуку к лодке и глаз не может оторвать от ее длинного расписного тела. Старик живо подсачивает добычу и хвалит мальчика:

— А ты, парень, на эти дела мастер!

Юный «мастер» безмерно горд похвалой, но старается быть спокойным и даже строгим. Но радости ему не спрятать — он весь сияет.

Кружок наживляют новым пескарем и опять опускают на воду.

— Дядя Федор! Смотрите, вон кружок покати́лся!

— О, небось, еще щучка цапнула! — отвечает старик, а сам уже гребет в ту сторону. Лодка подплывает к кружку, но он неподвижен. Ваня вытаскивает безжизненно тянущуюся лесу. Крючок пуст.

— Ишь зубастая! — ругает щуку старик. — Сорвала!..

Солнце падает за лес, и небо загорается румяным пламенем зари. Тихо... Под кормовым сиденьем кроме первой щуки есть еще и пара окуней.

Вон еще кружок перевернулся и поехал по воде. Его догоняют, и Ваня по привычке подхватывает лесу, быстро подводит рыбу и рывком хочет перебросить ее через борт в лодку, не дав Федору Фомичу взяться за

сачок. Над водой взлетает щука и... вдруг булькает обратно... Ваня страшно смущен, а старик и не ахнул.

— Хитрущая! Крючок выплюнула.

Он будто не замечает, что мальчик со стыда красен как рак.

А полыхание зари утихает, становится темновато. Из ближней рощи доносится клыканье соловья. Вот он распелся и выделяет колено за коленом. На душе у Вани весело и ясно, несмотря на упущенную щуку. Какой дядя Федор хороший!

— Ну, рыболов, поехали кружки собирать, а то в потемках растеряем.

Ване жалко кончать такую интересную ловлю, но делать нечего. Рыболовы собирают кружки и укладывают их на дно лодки. На восемь ничего не попало, на двух из них пескари замяты. Девятый нашли не сразу.

— Да вон он, пропащий! — И Федор Фомич указывает в сторону, где довольно густо разрослись плоские листья кувшинок.

— Ну и зоркий вы! — восторгается Ваня.

— Ну, брат, не подкачай. Наверно, щука есть, да и крупная!

Только взялся Ваня за кружок да за лесу — как рванет у него из рук! Чуть снасть не выпустил.

— Ой, дядя Федор, большая!

— Подтягивай, подтягивай! Чего на нее смотреть!

Рывки упирающейся рыбы очень редки и сильны, руки у Вани дрожат от волнения, но он быстро подводит громадину к лодке.

— Ваня! Ваня! Не давай ей под лодку уйти, не давай!

И вот в сачке, который Федор Фомич не без труда поднимает над водой, тяжело ворочается щука — скользкая, пятнистая, огромная, как кажется мальчику.

— Ну что за Ваня у меня! Рука у тебя, брат, счастливая!

Рыболовы подъезжают к берегу и перебираются в кусты со всем своим имуществом: удочками и мешками. Рыбу на кукане спускают возле кустов в воду.

Федор Фомич разводит костер из сушняка и хлама, нанесенного половодьем. Самых бойких пескарей от-

бирают из ведерка и пересаживают в корзинку, которую тоже пристраивают в воде — «для живности». Остальных — уснувших и ненадежных рыбок — чистят. Дядя Федор достает из мешка солдатский котелок, пяток картошин, луковицу, лавровый лист...

Ложка, конечно, одна — Федора Фомича, но не беда: едят по очереди. Ваня — гость, он ест первым. После ухи заводят разговор. Ваня рассказывает, что он перешел в восьмой класс, что приехал из Москвы к деду и помогает ему на колхозной работе, что отец не вернулся с войны (без него Ваня и родился). Мама в августе приедет в отпуск.

А Федор Фомич работает на фабрике (вон труба из-за леса торчит). Сюда он в сорок шестом пришел, а то в колхозе жил. Сперва у станка стоял, а теперь устарел, вахтером стал — работа подходящая: сутки дежуришь, двое свободен. На рыбалки времени вволю. Можно бы на пенсию, да скучно в стороне от дела, от людей...

До чего же не хочется Ване уходить с озера... Костер тихонько горит и мягко освещает морщинистое лицо дяди Федора, его бороду, красноватую при отблесках огня, кусты, обступившие прогалинку. Изредка плеснет крупная рыба. Комары то звенят над ухом и больно колются, то исчезают, отпугнутые дымом. Недалеко, в лугах, настойчиво «дергает» коростель; в Дудкинской пойме тоже дзыдзыкают: другой, третий, четвертый.... В полях над приречной низиной перепела задорно отбивают свое «пить-полоть, пить-полоть». Запад все еще розов и не хочет меркнуть. Высоко в темном небе висят яркие звезды. За Дудкином слышны песни и гармонь. Трудно Ване уйти...

— Нужно домой! — вздыхает он.

— Иди, иди, а то родные затревожатся. А я тут заночую. Люблю на воле! Иди! Да свою добычу не забудь.

И Федор Фомич подает Ване самую громадину. Ваня отказывается:

— На ваши кружки ловили, значит, и рыба ваша.

— А работа? — возражает старик. — Мало ль ты потрудился? Бери!

И мальчик, смущенный и торжествующий, мчится домой.

Тетя и сам дед ахают над его трехкилограммовой щукой, а Ваня рассказывает, рассказывает... Как ездили на лодке, ставили кружки, как он тащил добычу... Но больше всего говорит он о своем новом друге:

— Я такого человека никогда в жизни не видал. Он все про рыб знает! И добрый какой! Мы с дядей Федором дружить решили.

Назавтра, лишь разгорается красная чистая зорька, Ванин дед будит мальчика:

— Рыбак! Рыбу проспидь!

Мальчик вскакивает, в минуту одевается — и бегом на озеро.

Когда он бежит вдоль обрыва, внизу туман почти скрывает реку и так вот и течет вместе с ней. Вдали, где вечером варили уху, тумана уже нет. Из кустов поднимается синеватый дымок.

Ваня бежит лугом. Из-под ног у него, с посветлевшей травы, блещут искры росы, а позади ложится темноватый след. Как хорошо! С отмели снимается цапля и летит прямо в туман. Редко махая длинными крыльями, она всплывает над белым покрывалом озера, большая и сизая. В кустах возится и трещит хворостом Федор Фомич. Это он там для костра дрова готовит.

— А! Ванюша! Молодец, что не опоздал.

Заря над темной полосой леса яркая, ликующая.

— Дядя Федор, заря какая! Я такой никогда в жизни не видал!

Старик улыбается: много ль ты еще видеть-то успел!

Но мешкать некогда. Рыболовы быстро пересаживают живцов из корзинки, привязанной под кустом, в ведерко. Пескари, как говорит Федор Фомич, в корзине «отдохнули, как на курорте». И действительно, они очень бойкие.

Забрав ведерко и снаряжение, рыболовы выезжают на плес, и вскоре все десять кружков красуются на воде.

Солнце уже над лесом. Клев еще лучше вечернего: под кормовым сиденьем уже лежат две щуки и тройка окуней. А клеву еще не конец... Улов растет. Ваня счастлив и рыбой, и красотой свежего, чистого утра, и своим добрым товарищем.

Солнце плывет все выше, выше. Начинает припекать. Клев обрывается.

— Кончаем! — решает Федор Фомич.

Дома у Вани опять триумф. Еще бы! Принес двух крупных щук да трех окуней, тоже не совсем маленьких.

Поспав часа два, Ваня бежит помогать деду на покосе. А перед вечером — опять на рыбалку. Дома он уговорился, чтобы ночевать не ждали.

Дед знает Федора Фомича: человек хороший и ребятишек любит. Конечно, не святой, но мальчишку-то никогда не обидит. Пораздумав, дедушка отпускает внука, хотя Ванина тетка (папина сестра, а дедова дочка) почему-то старается отговорить «Ванюшечку» от этой затеи. Да разве его отговоришь!..

У Федора Фомича уже заготовлено достаточно живцов. Для «пущей живности» они отправлены в лунку, вырытую на песчаной отмели.

— Давай-ка, Ваня, еще на уху наловим.

— Давайте!

Наудив пескарей, рыболовы перебираются на Светлое озеро. И опять Ваня ликует, видя, как кувыркаются и вертятся кружки, опять он наслаждается вываживанием крупной рыбы. И опять ему удастся поглядеть на уток!

А потом вечером в кустах играет огонек и лижет котелок с готовой закипеть ухой. Прозрачный дымок поднимается прямо вверх, лишь чуть извиваясь в полном безветрии. Камышевки допевают свои незамысловатые песенки. Кроме усердствующих коростелей и перепелов заводит длинную трель и козодой. Как и вчера, на темной стороне неба, противоположной закату, сияют звезды. Уху сегодня хлебают в две ложки. Потом рыболовы лежат по сторонам костра на охапках нарезанного ивняка.

Федор Фомич рассказывает: на войнах девять лет пробыл. Тяжкие бедствия в Великую Отечественную войну не заставили его забыть прежнее — угрюмую, беспросветную муку в окнах первой мировой войны. И мальчику кажется, что он чувствует сырость земли, в которой томятся солдаты-окопники, видит доски и жерди бруствера, заменившего этим людям горизонт, да кусок тяжелого, задымленного неба над головами.

Он видит поле, изуродованное снарядами, все в безобразных сетях колючей проволоки; он видит русских солдат, бегущих в атаку под градом немецких пуль...

— Дядя Федор, а у вас Георгиевский крест был?

— И сейчас берегу, Ванюша.

Добрый, ласковый дядя Федор становится для Вани настоящим героем.

— В гражданскую, Ваня, куда легче было. Конечно, тоже не сладость: и осколком ранило, и голодно вато приходилось, да все не то, что в окопе распроклятом. На ходу воевали — в деревнях да в городах ночевали. Да и знали, за что бьемся. Так и пели: «Мы смело в бой пойдем за власть Советов!...»

Старый солдат умолкает, но слушателю мало.

— А как вы в Отечественную воевали?

Старику больше не хочется говорить:

— Нужно, Ваня, поспать хоть маленько. Дело-то уж к полуночи. Да авось и ночка эта у нас с тобой не последняя.

Он ложится поудобнее на своей охапке лозняка, укрывается ватником и уже через несколько минут похрапывает.

Ваня тоже укладывается на мягких прутьях и натягивает на себя старенькое байковое одеяло, которое тетка заставила его взять с собой. Долго мальчик не спит. Видятся ему страшные немецкие пилчатые штыки, разрывы снарядов... Как хорошо, что дядю Федора не убили! Какой он хороший!..

— Ваня! Ваня! Ваня! — тормошит его на заре Федор Фомич. — Ваня! Вставай, а то я один пойду!

Сбросив с головы одеяло, Ваня видит бороду и улыбку старика, а за ним голубое-голубое небо и белые-белые облака. Мальчик вскакивает.

Сквозь кусты виден огонь, будто вырвавшийся из-за леса. Он так ярок, что надо скорей зажмуриться. Как славно!

Старый рыболов бранит себя:

— Проспал я, пес меня возьми! Самый рыбий час упустили!

Но беда не так уж велика, не все, как говорится, погибло. Старый да малый еще успевают поохотиться с кружками. Улов у них на сей раз небогат, ну, а все же настроение веселое.

— До чего утро красивое! — радуется Федор Фомич.

А Ваня просто счастлив. Прощаясь, он мечтает:

— Дядя Федор, я всегда с вами буду ловить! И сегодня вечером!

— Нет, Ванюша. Сегодня мне дежурить. А завтра встретимся.

Завтра день опять погожий. После обеда Ваня спешит с удочками. Старика на реке еще нет. Мальчик даже рад этому: пусть придет, когда живцы уже будут наловлены. Он удит взабродку с островка и таскает пескаря за пескарем, сажая их в холщовую сумку, привязанную к поясу и наполовину опущенную в воду. Когда рыбкам там становится тесно, мальчик идет на берег и пускает их в лунку на отмели.

А дяди Федора все нет. Вот и солнце совсем низко — пора на озеро. Уж не заболел ли он?..

Но вот он, наконец! Ваня спешит на берег с рапортом. Встреча происходит возле лунки с пескарями.

— Здорово, молодец! — кричит старик и хохочет, даже приплясывает. — Как дела, птенец? — орет он во весь голос, хотя подошел вплотную.

Ваня растерян. Не глядя на своего любимца, он угрюмо отвечает:

— Живцов хватит. Нужно скорей ставить. Чего это вы опоздали?

— Вздумал выговоры делать? Как ты можешь мне так: «опоздали»! — передразнивает старик Ваню.

Тут только Ваня замечает, что лицо у Федора Фомича красно, глаза мутны, борода набок. Да он же и на ногах едва стоит!

Ваня разозлен и горько обижен. Он говорит чуть не со слезами:

— Вы пьяны! Не кричите на меня!

Но тот раздражается еще сильнее:

— Молчи! Пришибу!

Со всех ног Ваня бросается домой. Он в ужасе от того, что делает человек, которого привык считать таким хорошим, которого так полюбил...

— Ты что ж, рыбак, дело бросил? Не случилось ли чего? — спрашивает удивленный дед. Тетка тоже волнуется.

— Ничего! Отстаньте!

Дед не унимается:

— Как можешь деду так грубить! Ну-ка говори, какая беда стряслась? Федор, что ли, напился?

— Он ругал меня, оскорблял... Он противный!

— Как ты смеешь таким словом его! Он постарше тебя вчетверо! А знаешь ты, сколько у человека горя? На старости лет один-одинешенек! Ну выпил, ну расходился маленько — ну и что? Ты подумай: придет, бедняга, домой — никто не встретит, не проводит. Как-ово это, если семья растерялась... Станет сердцу невтерпеж — вот человек и пьет. Хоть и скверно пьяное дело, да не тебе судить. А то «противный»! Как язык повернулся?!

Ваня ошеломлен: он же еще и виноват!

— Да он меня побить хотел!

— Небось, кричал «пришибу»? Это у Феди, как выпьет, первая речь, только он пальцем не тронет... Давай, парень, ужинать да спать, а то завтра косить на зорьке.

Дедова постель, как и Ванина, в сенях. И Ваня со своей койки слушает сладкий, веселый храп деда. Самому-то Ване не спится. Нет, он не признает, что не прав. И мальчику долго не дают заснуть новые, необычные мысли: «Как же так? Дед сам говорит, что скверно пьяное дело, и сам же защищает! А если жаль такого человека, если знает, что у дяди Федора горе и тоска, так почему же не поможет? Ну хоть бы к себе позвал!» Трудно Ване разобраться во всем этом. Ему невдомек, что деду все недосуг, что за своими заботами люди нередко забывают о чужих бедах. Невдомек ему и то, что деду неловко слишком уж осуждать Федора Фомича: сам, бывает, тоже выпьет да и побузит...

Через неделю мальчик идет на реку, несмотря на уговоры тетки:

— Куда ты, полоумный? Гляди, какая туча заходит!

А туча действительно надвигается черно-синяя — можно испугаться. Впрочем, она погромыживает пока еще как-то робко, и Ваня надеется: пройдет стороной. Тетку слушать? Вот еще!

Когда мальчик идет уже вдоль обрыва над рекой, туча накрывает — становится темно, как вечером.

Вихрь треплет космы плакучих берез. Ване немножко стыдно, что сглупил, не послушался тетки.

Слепит молния, и гром тарарахает прямо над головой. Под обрывом есть густая-прегустая елка. Скорей! Мальчик скатывается с кручи, и, когда обрушивается ливень, он уже у елки, опустившей мохнатые лапы до земли. Раздвинув их, Ваня лезет в хвойные потемки...

— Лезь сюда, Ванюша! — слышит он знакомый голос. — Хоронись! — Федор Фомич распылил на сучьях клеенку — и получилась крыша. — Сюда залезай. Тут не промочит.

Мальчик и старик сидят плечом к плечу. Вот так гроза! Гром и треск валятся с неба, хлещет вода, будто море опрокинулось. С откоса мчатся ручьи, подтекают под ель, но ветви и клеенка все же спасают головы и плечи обоих.

— Что же на реку не ходишь? — ласково спрашивает старик.

Ваня мнетя, не знает, что ему отвечать.

— Да так... — бормочет он.

Дождь — тише. Рыболовы выглядывают из убежища. Серая, посветлевшая туча виновато убегает вдаль, открывая ярко-голубую гладь.

Старик и мальчик спускаются к реке и, перебредя на островок, науживают пескариков.

Потом, конечно, отправляются на Светлое. Там за делами вся неловкость, все смущение проходят. Вновь — дружба!

Хотя на этот раз вся добыча — пяток окуней граммов по двести-триста, приятели не горюют. Мальчику дороже всего сейчас, что дядя Федор такой хороший!

Уже в потемках приятели пробираются на свою прегалинку в кустах. Варится уха... А дядя Федор и кусты — все такое близкое Ване, свое...

Заря гаснет, но месяц светит так усердно, что хоть и ночь пришла, а темней не стало. Когда кончают плясать по кустам отсветы потухающего костра, ивняк становится в лунном освещении голубым. Ваня спрашивает:

— Дядя Федор, вы один живете?

— Один... А была семья...

И Федор Фомич начинает рассказ про счастливые

годы, когда после гражданской войны вернулся в деревню, женился...

— Маша моя была и хозяйка и добрая... Детей росло только двое: Катенька и Митя. Да недолго доченька пожила: на двенадцатом годочке утонула. Митя десятилетку хорошо кончил, а тут — война. И Митин год как раз к призыву угадал. Так и ушли мы вместе с ним на войну. Я после госпиталей два раза дома погостил. Маша, бывало, и поплачет, а все старалась меня подвеселить: «Не думай плохого, вернешься обязательно...»

Победу довелось праздновать в Германии. В сентябре нас, стариков, по домам распустили. Перед отправкой получил от Маши письмецо веселое: дома все в порядке, а Митю, мол, «в другую сторону послали». Понятно, на японцев, значит. А там, на Востоке, пока письмо шло, тоже победа. Так радостно на душе, что и не высказать!

Прибыл я на свою станцию: березы на солнце горят, осины, что флаги на празднике, краснеют! Ехал на попутной, на озими любовался. Спрыгнул у дома, взбежал на крыльцо — дверь на замке. Что такое? Ведь телеграмму подал... А соседка Дуня выскочила на улицу, заголосила — да так и повисла на мне. Я подумал, с радости это. Еще смеюсь: «Лужа от слез твоих будет». А она едва проговаривает: «Маша, Маша...» — «Да не томи, — говорю ей, — объясни скорей». Тут она мне и скажи: «Третьего дня схоронили...»

По лицу Федора Фомича ползут слезы, да и у Вани глаза мокрые.

— Как стоял я, так и упал. Очнулся в избе. Добрые люди внесли. Рассказали про Машу: в лесу делянку пилили, так ее деревом убило... Двое суток не ел, не пил — лежал да плакал.

Потом про Митю вспомнил. Вернется, думаю, женится — опять семья... Стал в избе прибирать, в сундук заглянул. Вот — мои письма к Марии, вот — сыновы. Гляжу, военная бумага: «Погиб смертью храбрых...» Это про Митю, значит...

Месяц уже скрылся над лесом, остается розоватый отсвет. Костер едва теплится. Перепела стараются — пулькают. Да еще дзыдзикают коростели.

— Ваня, спать хочешь?

А. С.

— Нет, какой сон...

— Тогда давай чай пить...

Ваня смотрит на старого солдата и долго не отвечает. Тот почему-то смущается. Мальчик в раздумье повторяет:

— Давайте чай пить... — И, помолчав, тихо добавляет: — А водки вы не пейте.

— Так с горя ж я, — опустив голову, говорит старик. — Разве оно мне на радость! Ведь когда ты от меня с реки убежал, так я назавтра, куда деваться, не знал!

— А вы и с горя не пейте... Вы к нам в Мышкино приходите, когда вам грустно бывает. А зимой я вам письма писать буду...

— Спасибо, Ванюша, за эти слова! Надо бы, милый, вино бросить...

Шурша кустами, проносится ветерок. Дымок костра припадает к земле, потом выпрямляется. Огонь вспыхивает ярче...



Хорошее дело — охота. И особенно прекрасна она, когда у охотника есть добрый помощник — породная и дельная собака.

И любит же ее охотник! И до чего же приятно ему показать людям красоту своего меньшого брата по охоте! Поэтому выставка — праздник. Соберутся сотни любителей со своими псами — весело, шумно, интересно! Закипит работа экспертов...

Вот ходят по рингу три десятка русских гончих — какой-то чудо-хоровод. Все породны, однотипны, все характерно окрашены — в легких чепраках или багряные. На неискушенный взгляд, чуть ли не все одинаково хороши.

Ну а глаз эксперта — дело другое. Судья видит не видимое простому смертному, и собаки для него далеко не одноценны.

Он уже доглядел, что вон у того выжлеца — брыли, что у этого — голова-то очень типична, а глаз светловат, что у третьего — повихнут гон, да еще и несет его выжлец слишком круто, что у четвертого задние ноги с коровинкой... Словом, на каждом солнце есть пятна, и мысль судьи должна взвесить, сравнить и решить, какое пятно терпимее: брыль или светлый глаз, широколобость или слабаватость спины и так далее, и так далее — пятен множество, и они бесконечно разнообразны. И эксперт так захвачен выискиванием пятен на солнцах и, наоборот, их блестящих сторон, что нет ему дела до остальной вселенной! И что судье какие-то там переживания владельцев подсудных ему собак?

А переживания бывают такие острые!

Года три назад довелось мне судить зверовые породы на районной выводке под Москвой. Собак собралось немного, и, быстро закончив экспертизу гончих, я принялся за русско-европейских лаек.

Во второй возрастной группе оказалось всего три кобеля. На больших рингах с несколькими десятками собак в группе, как правило, владельцев не замечаешь, слишком напряжено внимание в поисках собаки лучшей, затем второй, третьей и т. д. Где уж тут разглядывать самих собачников!

А на маленькой районной выводке, когда среди просторов спортивного стадиона, на ринговом пятчке, перед тобой ходят всего три собаки, невольно видишь и этих людей.

Понравился мне парень лет двадцати пяти, рослый, широко и ладно сложенный и с такими дюжими руками, что о профессии не надо спрашивать — конечно, рабочий. Приятно было смотреть и на лицо парня — мужественное, открытое, сияющее здоровым румянцем.

Хорош был молодец, а вот кобелек его — не больно. В общем-то, собака была достаточно породна, но сильно портили ее лимонно-желтые глаза, слишком неприятные на черной голове, и вовсе незаконная розовая с черными пестринами мочка носа. Нашлись и еще кое-какие недостатки. Делать было нечего. При всей симпатии к хозяину приходилось ставить собаку назад, а оценку дать только «удовлетворительно».

Сел я за столик, описал одну за другой этих лаек, отпустил их и попросил помощника собрать на ринг сук той же породы. И вдруг я увидел: неподалеку, упершись локтем в фонарный столб и уткнувшись лицом в рукав, стоял полюбившийся мне румяный богатырь. Плечи его конвульсивно вздрагивали... Он рыдал!

Подошел к нему мой стажер, пододвинулся и я.

Стажер, видно приятель страдальца, вовсе растерялся:

— Ваня, Ваня, чего ты, чего ты?.. Брось, перестань! Стыдно!

— Да... да... — сквозь рыдания проговорил хозяин злополучного Волчка, который с великим удивлением глядел на плачущего владельца и, ничего не понимая, весело вилял хвостом-баранкой.

— Да... такая... любимая... ссо... со... ба... кааа... и... и... удовле... твори... ительно... — и Ваня заревел пуще прежнего...

И смех и грех! А если вдуматься, так и не смешно. Видно, нежная душа у человека, у этого добра молодца.

И вспомнилось мне давнее, когда современной «комплексной» оценки и духу не было и экстерьер решал на выставке все, все...

Шумела, волновалась Московская выставка 1933 года. На ринг английских сеттеров вывели около двух десятков сук «открытого» класса (по-нынешнему, старшей возрастной группы).

Судил авторитетнейший судья (тогда не говорили «эксперт») всесоюзный Александр Александрович Чумаков.

Уж если у любого судьи глаз должен быть острой зоркости, то Александр Александрович имел взгляд еще более пронзительный. Кроме того, собак он знал досконально — и по выставкам, и по полевым испытаниям.

На данном ринге насчет первого места задумываться, очевидно, не приходилось. Оно как бы предопределялось тем, что вот уже ряд лет выставочное первенство неизменно принадлежало суке «блюбельтон» (то есть чернокрапчатой) Владимира Григорьевича Степанова — Норе, на редкость типичной, вели-

колепно сложенной и как бы щеголявшей замечательно косыми рычагами и изумительно пластичными движениями.

И Александр Александрович и на сей раз послал Степанова с Норой вперед, возглавить всю шеренгу английских красавиц.

Торжествующий, буквально обуреваемый гордостью, важно, как подлинный триумфатор, вел Степанов Нору впереди всех...

Характерная это фигура — охотник старой заправки! Вся одежда — от фасонной фуражки, напоминающей о былой железнодорожной службе, и вышитой рубашки-косоворотки под черным полупиджаком-полукителем до черных суконных брюк с небольшим напуском на голенища зеркально начищенных и ярко сверкающих на солнце сапог — все части одежды у Степанова гармонировали друг с другом, создавая по своему парадный, особо охотничий облик занятого старика.

Как-то очень подходили к этому одеянию, подчеркивали своеобразную франтоватость человека и староохотничьи усы со знаменитыми подусниками, столь культивировавшимися в XIX веке. Усы сильно поседели, но не добела, они были самые таковские, какие называются в народе «сивыми». Степанов время от времени лихо расправлял их, уверенный, что они украшают его все еще довольно свежее лицо.

Идет Степанов по рингу первым, ног под собой не чувствует, идет и ведет Нору непревзойденную, но — увы! — все-таки постаревшую (ведь суке уже 10 лет, а для собаки это — настоящая старость!).

Старый охотник, великий любитель собак, ведет свою прославленную умело: он не отпускает поводок вольно, все время слегка подтягивая вверх шею, а значит, и голову Норы, чтобы вид у нее был позффектнее, пободрее. И вместе с тем он... подбирает, подтягивает отвисающую на шее кожу — «подбрудок» (эх, старость не радость!).

Но как ни старается Владимир Григорьевич скрыть от судьбы, от зрителей, от самого себя эту предательскую отвислость, слабые пясти передних ног, недавно появившуюся излишнюю лучковатость задних — трудное это дело, шила в мешке не утаишь!..

А тем более и самому-то уже за семьдесят, так где же тут уследить за каждым шагом и своим и Нориным! Ходишь, ходишь по рингу, подтягиваешь, подтягиваешь собаку, да где-то и распустишься и ее распустишь... А всесоюзный Чумаков, разве он прозеваает?

Судья видит, что Нора все еще блещет породностью, что она для своего возраста хорошо сохранилась, да, для своего возраста, для своего возраста... Но все он видит, все, все...

Чумаков обращается к Ауцену, идущему вторым со своей Мод, столь же породной и ладной, как Нора, да к тому же еще и молодой:

— Дайте вашу собачку вперед! Да, да, на первое место...

И Ауцен, не веря своему счастью, обгоняет Степанова. Теперь он — триумфатор!

А позади него — господи, что там происходит! Старый охотник не в силах вынести удар, нанесенный ему прямо в сердце. Все краски сбегают с лица Степанова, он шатается, он валится на землю. Обморок! Покатилась фуражка, блестя лаковым козырьком и обнажив Степановскую лысину... К старику подбегают стажер и дежурный по рингу, поднимают его, несут к стулу у судейского столика, кто-то из публики кладет на стол фуражку...

— Воды! Скорей воды!..

И вот уже мчатся люди с водой — кто со стаканом, кто с бутылкой.

Среди зрителей оказывается врач.

И потрясенного, убитого горем охотника приводят в чувство, но долго еще он не может встать на ноги.

Подумать только, Чумаков нашел, что какая-то Мод лучше Норы! Слезы катятся по лицу Степанова, спадают на расшитый ворот... А Нора, растерянная и словно разом потерявшая весь свой былой блеск, сидит, прижимаясь к ногам хозяина, и лижет, лижет его бессильно свисающую руку, как будто хочет утешить старика, примирить со случившимся...

«Любви все возрасты покорны!»... Как видно, эту сентенцию можно применить и к охотникам, и к их влюбленности в своих бесценных четвероногих товарищей по охоте.



Дружок

1

Темный чепрак, рыжие подпалины, хороший рост да и вся внешность показывали, что это настоящая русская гончая, но пользы от этого не было.

Неизвестно, как и откуда попал Дружок в новгородскую деревушку Гряды, и вовсе непонятно, почему стал жить у Марьи Пешинной.

Мужа у тетки Марьи давно уже не было, охотиться было некому, а стеречь дом — не Дружково дело: ни на кого не вякнет, хоть весь дом унеси. Но Марья жалела пса, и худым он у нее не бывал. Жил Дружок на свободе и вел вполне праздный и легкий образ жизни.

Дружку шел примерно второй год, когда он появился в Грядах; пора бы проходить науку, идти в нагонку, но заняться с ним было некому. Так и оставался он неучем-недорослем.

Интерес к охоте у кобеля все же был немалый. Заметив, что приехавший в отпуск москвич шел в лес со своим англо-русским гончим Задором, Дружок издали провожал их. А как только Задор, подняв беяка, принимался водить его на кругах, а хозяин гонца спешил на верный лаз — откуда ни возьмись чепрачный с подпалами молодец вылетал где попало на след гонного зайца и заливался своим звучным и красивым басом. Не умея, как надо, подвалить к законному гону, Дружок портил дело и Задору, и охотнику.

Москвич старался поймать и отдуть окаянного добровольца, но тот не давался, продолжая вертеться поблизости. В несносного кобеля летели палки, и он удирал, изредка останавливался, грустно и недоуменно оглядываясь на гонителя.

Раз от разу кобель делался все привязчивее к охоте и все увертливей от побоев. Прогнать Дружка было тем трудней, что сам мастер Задор, вместо обязательной драки с посторонним кобелем, к Дружку благоволил, обнюхивался с ним и любезно вилял хвостом. Это смахивало на покровительственную дружбу ста-

рого художника, которую он дарит мальчику, тянущемуся к палитре и кисти.

Однажды дело дошло до крайности. Дружок выскочил из ельника к охотнику в тот момент, когда показался из-под Задора гонный беляк. Дружок, завидя зайца, бросился к нему, отогнал прочь и по своему обычаю вскоре вернулся к москвичу.

Тот, рассвирепев, вскинул ружье, и Дружок простился бы с жизнью, если бы не осечка.

«Ну, черт с тобой, живи!» — подумал охотник, решив, что такова уж судьба.

2

Дружку шла третья осень, а он так и оставался неучем.

Пытались определить его к охоте грядские охотники Иван Белкин и Василий Евдокимов, но без толку.

Дружок весело бежал в лес с людьми в ватниках, очаровательно пропахших заячьей кровью. Горячо заливался он, подняв зайца, и гнал таким раскатистым, многообещающим голосом, что у охотников становилось сладко на сердце. Но не успевали они добежать до лаза, не проходило каких-нибудь и десяти минут, как гон обрывался и Дружок — вот он! — помахивает хвостом. Ах, шут противный, опять бросил!

Охотники шли дальше. Кобель поднимал нового беляка, также лихо спроваживал его и спешил к людям с гордым видом: «Я, мол, свое дело сделал». Побьются, побьются с ним охотники да и бросят. Хочется ли возиться с чужой собакой? Учить — так надо бегать на сколы, кружить, драть горло, бодря собаку, чтобы вновь добрала смастерившего или запавшего зайца.

А может быть, охотникам следовало бы купить выжлеца? Нет. Евдокимов с Белкиным думали: «Леший его знает, этого Дружка. Зайца только отгоняет, а лису, может, и вовсе не погонит (лисиц было мало, попробовать по ним собаку не приходилось, к тому же Марья просила за Дружка пятнадцать рублей). Да ну его! Пятнадцать рублей тоже деньги».

Ноябрь был дождливый, хмурый, тяжелый. Скорей бы морозы! Тогда хоть белок на подслух можно добывать. С морозом, глядь, и пороша будет, тут и айда с флажками за лисой.

Долго ждали снега, с нетерпением ждали, ну и, конечно, дождались.

Только выпала порошица, Белкин с Евдокимовым еще затемно приготовили мешки с флажками, собрались на охоту. Долговязый, мрачноватый Евдокимов не поленился дойти до Марьи: «Привяжи Дружка, а то он нам день загубит». Марья взяла веревку, привязала собаку на дворе у ворот. Евдокимов пошел к Белкину, а Дружок, высовывая нос в подворотню, следил за ним и жалобно скулил: «Возьми да возьми меня с собой».

Долго ходили товарищи, пересекая леса по дорогам и тропам, по краям луговин и болот, вдоль холмистых кряжей и долинок с речками, но лисьего следа не попадалось. А ноябрьский день короток, отдыхать некогда.

Идут и идут охотники, отмеряют километр за километром и не один десяток их отмерили, пока конец не попался лисий печатный следок. Живо сделали несколько кругов, и вот в четвертом окладе — лисица! По мотку флажков в руки и — бегом — раскидывать их: Белкин влево, Евдокимов вправо. На той стороне встретятся.

Тихо было в лесу, только шуршали еловые лапы по заскорузлым ватникам да свистали по ним березовые прутья. Охотники бежали, сматывая с рамок шнур с флажками и бросая его прямо на снег (потом развесят как следует). Вдруг поодаль густой, могучий стон разорвал тишину, и нетрудно было узнать в нем голос Дружка.

Яростно, как будто захлебываясь злобным лаем, Дружок гнал зверя. Гон быстро приближался к окладу, ворвался в него, сделал внутри небольшой крюк, еще полукруг и вынесся на другую сторону. Где уж тут лисе удержаться!

И верно: Белкин наткнулся на след лисицы, карьером вылетевшей из оклада. Он остановился и, сжав:

шапку, чтобы вытереть мокрый от пота лоб, закричал товарищу:

— Кончай! Ушла!

Сошлись охотники, и невероятные проклятия полетели на голову собаки, а Дружок гнал зверя, как назло, все на слуху по широкой дуге, огибающей оклад.

«Сейчас, гад проклятый, бросит зайца и прибежит похвастать! Ну, не жди, кобель, пощады!» — зло подумал Белкин. И правда, нехорошо вышло: перегрыз гончак веревку да и пустился догонять охотников, а тут, наверное, по пути на зайца напоролся. Вот черт!

Между тем Дружок гонит и гонит... Что это он долго не бросает? Никак на месте брешет?.. Опять погнал, да еще с привизгом... Опять на месте, опять голос другой, не гонный...

Охотники стали пересекать оклад туда, где бросил Евдокимов начатую рамку флажков... И тут попались им следы широких скачков Дружка. Здесь он гнал, а где же заячий след? Заячьего следа нет, а вот Дружок как будто два раза по одному месту промчался. Что такое? Вторые скачки, как выжлеца, но лапы не его — круглее, шире.

А Дружок то азартно гнал, то задерживался на месте, вновь меняя голос.

— Ваня! А ведь след-то рысиный!

Остервенелый лай на месте говорил, что зверь задержан, но собаке с ним ничего не поделать.

Бросив флажки — потом соберут! — охотники со всех ног помчались на лай.

Вот уже голос Дружка совсем рядом, слышно, как кобель со злости ломает зубами еловые сучья, слышно ворчанье разъярившейся большой кошки.

Люди крались все осторожнее, вглядываясь сквозь чащу. Белкин увидел припавшую на передние ноги собаку. Гремя басом, она была до того озлоблена, что шерсть дыбом стояла по всему хребту, от загривка до хвоста. Обрывок перегрызенной веревки так и мотался на шее. А напротив собаки, собравшись в комок, приложив уши и оскалась, прижалась задом к ели рысь.

Дружок атаковал то спереди, то сбоку, но зверь всегда успевал повернуться мордой к противнику.

Дружок метался, и Белкину никак не удавалось уловить момент, чтобы выстрелить безопасно для собаки.

Заметив человека, рысь бросилась наутек.

Дружок залился ярким гонным лаем, как говорит, вися на хвосте у зверя. Рысь, не выдержав натиска, через каких-нибудь пятьдесят-шестьдесят метров снова села в оборону у корней вывороченной сосны.

Теперь первым поспевал к драке Евдокимов. Он видел, как кобель отскочил прочь, чуть не получив от рыси удар лапой.

Момент не был упущен. Дым выстрела скрыл на несколько мгновений и зверя и собаку. Но уже слышно было рычание: Дружок трепал мертвую рысь.

Выжлеца ласкали, хвалили, чуть ли не обнимали. Из-за пазухи вынимали пироги: «На, Дружочек, возьми, родный!»

Но тому было не до пирогов. Он рвался к рыси: вцепиться, мять, потешить сердце!..

Смотав флажки, охотники бодро возвращались домой. В деревню они явились уже впотьмах.

— Смотри, Иван, не проболтайся про Дружка. Как бы не перехватили его у нас!

— Известно! Еще бы!

4

Белкин и Евдокимов частенько стали захватывать с собой Дружка. Начали с охоты зайцев понашивать, а то и рысей приволакивали. Чуть хорошая пороша, они — выжлеца на веревку и марш искать рысий след. А найдя его, вели собаку, пока не обложат рысь. И как только зверь оказывался в кругу, Дружка пускали на след. Он гнал, задерживал, охотники набегали... Выстрел — готово! Случалось, окладывали не одну рысь, а целый выводок — мать с одним, двумя, а то и тремя рысятами. Дружок гнал первую попавшуюся, и, когда она бывала убита, охотники возвращались к остальным, вновь окладывали зверей, обычно недалеко ушедших, и с верным гонцом брали их одного за другим.

Дружок победил сердца приятелей, и они стали к

нему внимательней. Стоило выжлецу погнать беляка, как кто-нибудь из охотников принимался мастерить, чтобы перенять зайца на лазу и убить, а другой, не щадя ног, старался держаться ближе к собаке. Стеряет Дружок, а человек тут как тут: «Давай, давай, Дружок! Ищи его!» Как тут бросишь? И гончий ищет, добирается, вновь гонит. А на следующем сколе опять кто-нибудь из охотников рядом — покрикивает, бодрит собаку. И вновь выжлец гонит.

Ударит выстрел. Дружок доходит следом и хватает убитого зайца за бочину, убеждается: работал не зря.

— Дружок, на лапки! — и только треск стоит, как хрустят на зубах у него заячьи пазанки.

Охотники помалкивали про успехи своего четвероногого друга: и без того люди завидовали, глядя на рысьи шкуры. Пусть-ка другие жалеют, что лисы нет, нечем договор выполнять, а у Белкина и Евдокимова удача за удачей: то будто старика кота в капкан поймали, то заметили рысь на елке... Диво! А зайцы? Добыча не бог весть какая, да и то, как его, зайца, возьмешь? Врут, небось, Иван с Василием, что беляков друг на друга нагоняют.

«Ой, не купить ли кобеля, пока не опоздали?» — призадумались Белкин и Евдокимов, но решили: «Вот еще покупать! Во-первых, снег уже глубок — скоро охоте конец. Во-вторых, придет новая осень, выпадет снежок, и Марья, баба добрая, даст Дружка задаром. Так с какой же стати кормить собаку чуть ли не целый год зря?»

Секрет удачливых добытчиков сам собой приоткрылся. А вышло вот что. В декабре понамело снегу, хотя и ходили еще без лыж. Собаку снег, конечно, связывал, но гон Дружку был все-таки по силам. Решили по свежей пороше поискать рысь. Сперва все шло хорошо. Нашли след крупного кота, обложили. Дружок погнался и через несколько километров остановил зверя. Белкин сначала из-за ветра отслушал гон; потом, найдя следы Евдокимова, который бежал, не теряя лай со слуха, пустился вдогонку, да опоздал к развязке.

А Евдокимов был уже около собаки. Видя, как в кустах мелькает кобель, напирющий на рысь, охот-

ник уже ловил момент для выстрела. Вдруг, перелезая через поваленную сосну, попал ногой в развилку ствола, и ступня оказалась, как в капкане. Евдокимов сгоряча рванулся так, что чуть не сломал ногу.

А Дружок решил: помощь подоспела. Еще яростнее напал он на рысь. Зверю уже некуда было отступать, осталось только броситься на собаку. Евдокимов из своей ловушки видел, как рысь и гончая клубком покатались с рычанием, визгом, хрипом... Шерсть летела клочьями...

Бой длился недолго. Дав Дружку несколько сильных хваток, кот сумел оторваться от него и скрылся в гуще ивняка. Кобель встал, но преследовать зверя больше не мог.

Возвращение домой было невеселым. Охотники приуныли, и Дружок ковылял, едва касаясь земли левой передней ногой и правой задней, на которых зияли широкие и глубокие раны.

Пришлось пустить слух, что Дружок напоролся на медведя и тот чуть не замая выжлеца насмерть. Но если тетку Марью можно было обмануть подобными рассказами, то разве настоящий охотник поверит такой чепухе? Медведь? А где он? Почему же Иван с Василием бросили такого зверя, почему не обкладывают, не добивают?

5

Пришла новая осень. В середине ноября завывала «сиверка», нанесло темных, с пенными краями туч, полетели белые мухи. За ночь насыпало снегу: клади мотки флажков в заплечные мешки, обдумывай маршрут, где бы лису найти. Но лисиц опять оказалось мало.

Белкин и Евдокимов пошли к тетке Марье Пешиной.

— Здорово, Марьюшка!

— Здравствуйте, товарищи, посидите, побеседуйте.

— Беседовать-то некогда. Надо на охотишку. Дай-ка нам, Марьюшка, Дружка. Ему тоже, небось, погонять охота.

— Да нету его. Вчера продала...

Белкин и Евдокимов так и обмерли:

— Да как же так? Да кому?

— Да в Кобыльно Васе Плечанову.

Настроение у обанкротившихся просителей окончательно упало. Плечанов — охотник настоящий. Не видать им теперь ни Дружка, ни рысей!..

А Дружок у Плечанова поработал на славу. Правда, зайцев он несколько презирал, случалось, немного погоняв, бросал, а иной раз и часок подержит. Охотиться с ним можно было.

Зато как доблестный рысатник Дружок прогремел не только по своему району, но и за его пределами. Не раз приходилось ему вступать в битву с опасным хищником, не раз получал он страшные раны в этих схватках. Неделю, а то и больше отлеживался, а затем вновь готов был гнать зверя и сразиться с ним, вооруженный все теми же страстью и бесстрашием.



В том году поздновато я вырвался из Москвы со своим спаниелем: уже настоящая осень пришла в новгородские края.

Осинники почти совсем оголились, и редкая желтая их листва еле держалась на сучьях, невесело черневших на фоне бесстрастного серого неба. Лишь пахнул ветерок — листья торопливо срывались и, кружась, порхали на землю. А ее и без того сплошь устилал лимонно-желтый покров удивительной яркости.

Кроны ольшняка тоже сильно поредели, и на земле под ними сухо шуршал еще рыхлый слой опавших серовато-бурых листьев.

Только березняки, потерявшие пока не больше половины своего наряда, не сдавались осени и горели желтизной чуть оранжевого оттенка. Смело и как будто даже весело их белые стволы светились сквозь одеяния, ставшие прозрачными.

И под всеми лиственными лесами стоял свежий, слегка кисловатый и очень приятный запах мокрых листьев, отживших, но еще непрелых. Посветлело в таких насаждениях, и каждая ель, каждая сосна стала видна издалика. Ну, а сплошные ельники и боры словно потемнели, нахмурились.

Осоковые болотины разноцветно пожухли — где сделались тускло-желтыми, где бурыми, где розовыми.

Озими в полях зазеленели неожиданной, разудалой, изумрудной красой. Не изменила осень только моховые болота, которые нерушимо хранят завещанное им от века спокойствие. Не меняются на них ни седой мох сфагнум, ни редкие хилые сосенки, ни подбел да багульник. Лишь одна обновка появилась на мшаринах — покраснела спелая клюква. Но она ведь заметна только под ногами и нисколько не нарушает древнюю картину зачарованного молчаливого мохового болота.

Осень.

На что ж теперь надеяться москвичу со спаниелем?

Однако, если уж приехал на охоту — не ленись! И каждый день я ходил и ходил со своим черно-пегим другом по лесам, по окраинам осоковых болотин. А по вечерам моя деревенская хозяйюшка, бабушка Аксинья, пробирала меня:

— Ну что ты ходишь? Что ты попусту сапоги бьешь?

Но не на сто процентов она была права: как-то мы с Садко рябчика принесли, а потом бекасов пару.

А бекасы те были последними из последних; уже на четвертый день я не мог найти ни одного: пролет кончился.

Будь в моих местах настоящие бекасиные трясины или иловатые болота достаточно просторные, глядишь, какая-то птица и задержалась бы, а то нет у меня ничего, кроме десятка мочажинок с кочками, с осокой да еще с грязевыми лужицами. Где уж тут задерживаться!

Я переходил от болотца к болотцу то полем, то перелеском и на переходах брал Садко к ноге, чтобы не тратил сил зря.

Серые тучи, сплошь закрывая небо, неторопливо брели с северо-запада. Иногда наплывала облачинка

потемнее, и из нее сыпался мелкий-мелкий дождик... Нередко случается слышать людские жалобы на осеннее ненастье: ах как печальна природа! Какую тоску нагоняет дождь!

А не происходит ли это вот от чего: предвзято относясь к осени, к ненастью, как к заведомой неприятности, человек не видит, что и в такую погоду природа полна прелести.

Я не боюсь, что эта морось промочит меня: попылит да и перестанет. Я останавливаюсь среди поля и люблюсь новыми, мягкими тонами лесной опушки. Пылит, как сквозь сито, сеется дождик; и за его пеленой желтая окраска березняка теряет свою крепость и густоту. Она кажется бледно-золотистой, словно зреющее ржаное поле, золотистой с нежным сизоватым налетом.

Иду к лесу. И чем ближе подхожу, тем ярче становится листва, и на каждом листочке висят и падают с них чистые, светлые капельки.

Мы с Садко поворачиваем вдоль опушки, идем вдоль края поля, а у самого кряжика осталась узенькая, шириной в полметра, полоска овса, случайно не захваченного косилкой (поля бугристы и каменисты — комбайн не пройдет). Корм для птицы!

И, уж конечно, тетерева тут завсегда!

Садко волнуется. Его неудержимо тянет в заросли ивняка, окаймляющие опушку. Ох как его тянет!

Ну, так и быть:

— Вперед!

И спаниель исчезает в кустах. Ясно, кто его увлек, и вряд ли можно сомневаться, что ничего не выйдет: строг осенний тетерев!

Так и есть: взлетел косач шагах в семидесяти. Стрелять нельзя.

С упругим звуком быстрые и сильные крылья вскидывают иссиня-черную птицу над ивняком и низкими березками. И, словно задумав похвастать силой и красотой, летит тетерев через узкий клин поля в другой перелесок, летит, стремительный и крепкий, как сгусток энергии!

И взрыв его взлета, и весь его облик в напряжении быстрого полета радуют, поражают... хотя столько раз это видано-перевидано! Тут тебе не летний пегий те-

теревенок, лишь начавший собирать свою будущую красоту!

Вот она, осень, и могучая, прекрасная жизнь!

— Садко! Ко мне!

Но ему не до меня. Вон он выскочил в поле там, где поднялся косач. Свисток и новый окрик останавливают пса. Он мелькнул назад в лес: как-никак не погнался, и то ладно. Но расстаться с пахучим следом так вот сразу нет сил, и не так-то скоро появляется спаниель, вылезая из кустов рядом со мной. В его глазах смущение и растерянность, хвост часто-часто виляет где-то внизу — все признаки сознания вины. Выговор сделать необходимо:

— Распущенность! Удрал черт знает куда! Пусть там уж очень интересный след, но порядочная собака обязана задумываться над тем, к чему приведут ее действия, сознавать! А тем более собака с опытом, обязанная накопить достаточную мудрость...

Я выкладываю эти глубокие мысли в самом строгом тоне (он-то и действует), и Садко подавлен моими доводами. Это видно по его жалкому морганию и поглядыванию по сторонам.

Но частое-частое виляние хвоста говорит мне и о другом. «Да, — говорит оно, — знаю я, тебе нужно, чтобы я не удалялся дальше несчастных тридцати шагов. Но пойми! За столько часов ходьбы одна птица, да еще какая! Мыслимо ли удержаться в рамках? Хозяин ты, хозяин! Скажи мне спасибо, что полюбовался великолепным чернышом!»

Он прав. Спасибо!

Мы подходим к самой последней мочажинке. А ну-ка, вдруг да окажется бекас?

— Садко, вперед!

Шуршит буро-зеленая осока, раздвигаемая спаниелем. Он выскакивает на мокрую прогалинку, и его хвост сразу же начинает работать вовсю. Садко явно на набродах.

Подхожу, готовый к выстрелу... А Садко останавливается и стоит как вкопанный, его нос нацелен в куртинку осоки. Стоит! Форменная стойка у спаниеля! Что за чудо?

Я уже шлепаю по болотине рядом с собакой, и наконец птица не выдерживает, взлетает. Прежде чем

успеваю сообразить, что это гаршнеп, что не надо бы этого малыша трогать, происходит выстрел... Садко с удовольствием подает... А мне думается: «Эх, не надо бы стрелять!»

Ну что ж! Болотины обысканы все. Теперь пойдем по лесам — вдруг да где-то тетерев нам поддастся!

Идем, идем из лядины в лядину, обходим или пересекаем мшарины, идем по ельникам, осинникам, березнякам.

Садко шустро шмыгает из стороны в сторону челноком, челноком, шныряет среди кустов, среди кочек, среди зарослей брусничника, черничника, гонобольника... Три раза я слышу взлеты тетеревов: они невидимы, потому что лишь нападет Садко на след, а птица-то впереди — скорей на крыло! Чуток, строг осенний тетерев!

В ольшняке, разросшемся по краю сенокосной поляны, Садко прихватывает, горячится... Едва успеваю подойти к собаке в ольхи, как свечкой взвивается вальдшнеп! Отчетливо виден он среди полуголых вершин, вижу я даже направленный вниз длинный нос.

Хорошо стрелять, но я как-то нескладно веду стволами за птицей... промах! Ничего удивительного: ждал, ждал, томился, томился, ну и устал ждать — птицы все не было, и не было, и не было!

Тщетно Садко ждет посылы «подай!»... Теперь у него право на выговор. Ну что же! Сквитались.

Мы в районе пустоши под названием Келья, недалеко от деревни Холмы. Зайдем-ка туда, к Ване Белякову! А то бабушка Акулина рассказала, что он долго болел, лишь недавно стал выпутываться.

— Зайдем, Садко, проведем приятеля!

Идем дорожкой. Она ведет нас бором-беломошником, над берегом не слишком большого, но на редкость красивого озера.

Садко бежит дорогой впереди. Вдруг останавливается, приподнимает уши и хвост, рычит.

— Садко! Аль не узнал? — слышу я голос Вани и вижу его, сидящего на пне над самым склоном к озеру. Садко со всех ног бросается обнимать и облизывать старого знакомого.

— Здравствуй, Ваня! А я тебя проведать шел.

— Ну вот и проведал. Садись, Василь Иванович.

Вишь, для тебя какой добрый пенёк подстатился.

Беляков — Ваня, а я — по имени-отчеству потому, что он еще молодой, ему всего каких-нибудь полсотни лет, а мне-то...

— Ну как охота?

— Да что, Ваня! Гаршнепа взял, по вальдшнепу промазал.

— Это что промазал — пустяк. Зато в лесу день!

— Ты, говорят, сильно болел?

— Ох, сильно! Воспаление в легком. Думал — всё, пока медицина не взялась. Главное, Шура не ленилась, бегала с медпункта по два раза в день, пенициллином колола. А то совсем было на тот свет собрался.

— Небось, жалко было с жизнью расставаться? Еще бы зайцев да тетеревов пострелять?

— Жизнь я не горазд жалел. Хозяйка моя померла, дети — кто куды разлетелись. Сам да хромая сеструха — вот и вся семья. Невеселое житье! Ну а зайцы да тетери — много я их видел, много пороку-дробь извел. Оно хорошо, да как-то при смерти про добычу не думалось. А вот придет на память, как ветерок в соснах шумит, как озеро голубеет, как тетерева по весне воркуют, — так до того жаль, аж сердце замрет! Неужто, думаю, ни разику мне этого не увидеть, не услышать? А как силы маленько собрал — первым делом сюда!

Слушал я Ваню и вдруг открыл: да ведь и я, вспоминая былые охоты, не думаю о добыче, зато живо вижу вновь — то апрельский оранжевый закат и величественный шум глухариних подлетов к току, то сырой осенний день и яркие в туман голоса гончих, то озеро, светящееся сквозь старый сосняк, то сумерки могучего сльника...

Сидели мы, беседовали. Над нашими головами мягко, задушевно шумели сосны — хорошо было! Вдали на озере запоблескивали на волнах словно огоньки — это погода задумала исправиться: тучи разорвались, и в разрыве спокойно и уверенно заголубело небо и выглянуло солнце. Слабые волны, бесцветно катившиеся по озеру, вдруг стали синими-синими...

Вдали тетерев забормотал.

Грусть в его песне есть, а слушать ее — большая радость!



После войны

Была война, а мы остались живы.
Е. Долматовский

Конец лета того уже довольно далекого года я проводил в лесном краю, в деревне Заветово.

Лето ушло и как эстафету оставило сентябрю желтые пряди на березах, румянец на кронах молодых осинок. Поседали травы; лишь на поздних покосах свежо зеленела отава.

Сентябрь, едва пришел, сразу же стал по утрам серебрить инеем все: и травы, и жнивья, и овсы, еще не убранные колхозом.

Несколько вечеров мы с Сергеем Батраковым ждали на овсах медведя. Но зря: мы караулили на одной полосе, а он являлся на другую; завтра мы сядились на этой другой, а зверю приходила фантазия кормиться на нашей вчерашней, а то еще на какой-то третьей. Такая канитель обычна там, где много мелких полос овса раскидано по лесу.

Не лучше ли вечерней зарей постоять на утином перелете? Охота на уток в Заветове небогата. В трех километрах от деревни в лесной долине протянулась цепочка из четырех полуозерков-плуболот. Мало там бывает выводков крякв и чирков, зато дальше в лесу, примерно еще в часе ходьбы, белеет озеро покрупнее и уток там побольше. Должно быть, птица с этого Лебедина полетывает и на нашу цепочку, которую зовут Канавино.

Пошли мы на Канавино, стали на перешейках.

Охота охотой, а природа сама по себе влечет. И особенно хороши в ней зори, их разнообразная красота.

Зори — сколько в них красок!

Та зоря была студеная, оранжевая, совсем безветренная, такая, что мне с болота ясно слышалось падение листка на опушке леса.

В этой полной тишине свист утиных крыльев доносился издалека, и можно было хорошо подготовиться

к выстрелу, не то что в ветер, когда утки неожиданно возникают у тебя над головой.

Но не этой выгодой, не этим предупреждением дорога тишина, не тем, что, может быть, подарит тебе побольше добычи. Уж очень красив сам тонкий, звенящий звук полета — один из подлинных звуков извечной природы, так вот и проникающий в самую душу. Слушать его — наслаждение.

Уток летело немного, да и те больше стороной. Все же пострелять удалось. Я взял тройку чирят, а Сергей — чирка и крякву.

Пошли домой. Заря не совсем погасла, а над лесом уже поднялась большая желтая луна. Легко было идти по прохладе.

Сергей, перхавшего еще на болоте, вдруг схватил сильный приступ кашля. Пришлось остановиться. Сели на пеньки.

— Что с тобой? Простудился, что ли?

Сергей только рукой махнул:

— Туберкулез...

Я и не знал, что Батраков так серьезно болен, привык к его покашливанию. Думалось: это, мол, что-нибудь так... А дело-то, оказывалось, было неважно. Так вот почему Сергей так худ и сутул и в тридцать пять лет стал седым стариком. Вот почему он мало работает в колхозе, да и то на легких работах! А я-то считал — лень...

— Надо лечиться! — вырвалось у меня.

— А я и хожу по докторам. Лечат, да без пользы. Говорят, запущено.

— Уж не в плену ли ты захватил эту неприятность? (Я знал, что Сергею довелось несколько лет страдать в немецком плену.)

— А то где ж? После победы я оттуда выбрался довольно скоро. Эх! Думал, дома пройдет. Да вот уж третий год как дома, а вроде только хуже становится.

Неизбежно заговорили о войне. Батраков рассказал мне свою историю, к сожалению обычную.

Осенью сорок первого года стрелковый полк, в котором Сергей воевал под Ленинградом, потерял связь с командованием и с другими частями, был окружен... Остатки полка оказались в плену.

— А каково советским солдатам доставалось в

плону, про то в книгах и в газетах много писано. Чего тут говорить! Фашисты не люди!

Потом Батраков рассказал, как бежал из плена, как попался...

— А как попался, сам понимаешь, тут еще хуже пришлось. Не бывать бы живому, кабы война не кончилась...

Опять его стал мучить кашель.

Я старался успокоить Сергея:

— Помолчи, друг. Пусть кашель уймется.

Сергей затих, слышно было только его хриплое дыхание... Некоторое время мы сидели молча. В чистейшей лесной тишине донеслось издали: «Йох!.. Йох!.. Йох!.. Йох!..»

— Слышишь, Сергей Ефимович, лось супругу ищет.

— Слышу... — мой товарищ отдышался: — Вот бы убить да мяса насолить — вся семья целую зиму сыта. Ребят хоть когда-нибудь подправить. А то ведь Мишке девять, а Машке семь — самый рост, а еда одна картошка!

Он только и думал, что о детях. А его Миша и Маша войну едва пережили...

Когда Сергей пошел на фронт, на руках у его Фени остался двухлетний Миша, а к новому сорок второму году родилась Маша. Одна осталась солдатка с двумя крошками. Да еще весть пришла, что Сергей пропал! Родных рядом ни души, а колхоз — много ли могли помочь люди, когда самим тяжело, когда в деревне одни вдовы с ребятишками да старики? От кого тут ждать помощи? Билась солдатка, вытянула ребят... А поголодали они немало!

Хорошо бы Сергею лося добыть, да никто не позволит.

— Убить не штука. Приманить его сейчас просто. Бык на драку вплотную примчится. Только у нас с тобой лицензии на него нет.

— А ты умеешь манить?

— Конечно, умею (вабить лося на реву дело нехитрое, нужен только хороший слух, чтобы охать в тон да не частить).

— А ну попробуй, не придет ли?

— Да ведь, Сережа, инструмент нужен.

— А какой тебе инструмент?
— От керосиновой лампы стекло семилинейное, а то хоть и десяти.
— Стекло найдем. А завтра пойдем манить-то?
— Ладно. Только без ружья.
— Ну вот! Без ружья! Хоть и стукнем одного — кто узнает? — сердито возразил он и добавил, о чем думал всегда: — Ребят подкормил бы!
Но я, разумеется, настоял на своем.

Не раз замечал я, что лоси режут на Разумовой и на смежном с нею Журавином болоте. Туда мы и пошли на следующий вечер перед закатом. Было прохладно и тихо, как вчера. Садившееся солнце снизу подсвечивало облачки, не то медленно плывшие, не то замершие на месте.

Лишь стали мы спускаться с кряжа к болоту, как над нашими головами с сердитым кряканьем вырвался из шумной осиновой кроны глухарь и улетел. Сергей расстроился:

— Вот не велел брать ружья! Ребятам бы!..

Отошли мы болотом от суши метров на двести, сели на кочку в группе корявых сосенок. Перешептывались, но не курили: я сроду не табачник, а Сергей бросил из-за болезни.

Солнце коснулось леса краем, потом все утонуло в нем. Но вершины крупных деревьев еще светились недолго, озаренные солнечными лучами, да сияли края облаков.

В темнеющем небе пронеслась стайка чирков, частая крыльями: «Свисвисвисвисви...» Закат разыгрался красками багряных и малиновых тонов, суля назавтра ветер, но сегодня, на наше счастье, стояла тишь, ни один листок не шелохнет. По этой-то тишине и услышали мы уже в густых сумерках далекие, далекие вздохи, доносившиеся откуда-то из-за леса, чуть видимого сквозь редкий низкорослый сосняк болота.

Рев близился, подаваясь вместе с тем все левей (как же не подходит, на мой взгляд, слово рев к стонам-вздохам лосей, и грозным, и в то же время томным!). Приложив ко рту узкий конец стекла, я начал вабу, охая в стекло, как в трубу:

— ...Йох!.. Йох!.. Йох!.. Йох!..

Бык замолчал, вслушиваясь, определяя, где сопер-

ник... Я тоже перестал подавать голос, чтобы зверь не разобрал то, чего ему не следовало понимать... Он снова принялся охоть, круто повернув прямо на нас. Звуки его вздохов вдруг сразу стали отчетливее, и пошло откликаться им эхо: это лось спустился из лесу на наше болото. Вновь он смолк. По-видимому, остановился, слушал. В эту минуту где-то далеко вправо от нас, пока еще невнятно, слышались стоны другого быка. Я — скорей за стекло! Нужно было не дать «нашему» быку броситься к тому, дальнему! Я йохнул только три раза, напрягая все внимание, чтобы не сфальшивить. На близком-то расстоянии лось легко может заметить ошибку, обман.

Получилось у меня чисто:

— Йох!.. Йох!.. Йох!.. — и томно, и с легкой хрипотцой, и с суровым отрывом.

Лось бросился вскачь к близкому «врагу», только болото зачавкало под его ногами. Он малость промахнулся и оказался на чистине между сосенками шагах в пятидесяти правее нас.

Месяц поднялся еще невысоко и был желтоват и тускл. Все же лося мы видели ясно. Он был очень велик, на широких рогах посвечивали концы многих отростков. Бык стоял весь на виду, правым боком к нам, и я подумал, что выстрел вряд ли оказался бы неудачным.

Я уже хотел громко свистнуть — поглядели, и будет! — но Сергей разразился кашлем. Он, видно, давно уже сдерживался, а теперь не стерпел. Лось метнулся в сторону, и его шлепанье по болоту быстро умчалось вдаль.

А мой товарищ долго еще сидел на кочке и натужно кашлял. Кончив надрываться, он еще посидел, отдохнул.

— Эх, Василий Иванович, послушаешь тебя — как оно вроде просто. А если разобраться, как надо, — так ведь тонкое дело. По дороге домой Сергей пробовал охоть в стекло. Но сам сказал:

— Все равно как у бабки поясницу ломит.

И я повторил ему вабу, отдельно показав все в голосе лося: и хрипотцу, и тоску, и отрыв с гневом.

Он еще раз взялся за стекло. Стало у него звучать чуть получше...

*

На следующий август я приехал в Заветово не один, а с приятелем москвичом Михаилом Ивановичем Пениным. Он достал где-то на сезон ирландского сеттера, уже немолодого, но тем упрямее погрязшего в «ужасном» пороке. На стойку Рекса жаловаться не приходилось — стоял он крепко и стильно. Но после выстрела — будь то по бекасу, будь то по тетереву — он бросался за птицей и мял убитую без зазрения совести. А если птица улетала, он мчался за ней с необычайной резвостью. Тут пес разгонял все на свете!

Неунывающий Михаил Иванович посмеивался:

— Замечательная собака! Ну кто еще сможет так «взогнать» тетеревов выше лесу стоячего, чуть пониже облака ходячего?

Самые суровые внушения Михаила Ивановича — и прутьями и плетью — на Рекса не действовали. И не придумали мы ничего более нового и умного, чем пускать в поиск нашего ирландца с привязанной к ошейнику веревкой.

Как только Рекс начинал потяжку и подводу к птице, один из нас (по очереди) брал конец веревки в руки и управлял собакой, пресекая ее чрезмерные порывы. Другой охотник стрелял. Мы считали, что совсем без собаки все-таки хуже, чем с Рексом. А с ним иной раз бывало забавно и даже почти добычливо.

Казалось бы, устроились. Но недолго длилось благополучие.

В один из первых же дней охоты получилась авария.

На вырубке, изрезанной канавками лесопосадок с вывороченными на край пластинами дерна, с куртинами малинника, иван-чая и осинового поросли, Рекс нашел тетерева. Заметив потяжку, Михаил Иванович поймал веревку (была моя очередь стрелять).

Рекс замер на стойке. Я подоспел:

— Вперед!

Лишь сеттер тронулся по моей команде — сорвалась матка и с ней два молодых, оба — пегие петушки.

Я вскинул ружье, но выстрелить не успел — рядом рухнул Пенин: Рекс с такой силой рванулся за тетеревами, что вывел из равновесия охотника, который

провалился левой ногой в «лесокультурный» ровик, а правой ступней попал в сплетение корней полувывороченного пня. Веревка только шмыгнула мимо меня, словно какая-то невероятно быстрая змея, умчавшаяся за лихим псом.

Я бросился поднимать Пенина, но лишь взялся за его плечи, он взвыл:

— Оставьте! Нога! Ой-ой-ой-ой!.. — Но сразу же, верный своей неизменной выдержке, он сострил: — Поглядите, сломана она, что ли, или вовсе отломилась напрочь?

Дав ему передохнуть, я все же с великими предосторожностями кое-как помог ноге освободиться из ловушки: один корень отогнул, другой выломал, еще два вырезал складным ножом.

Но ни встать на ногу, ни шевельнуть ею Михаил Иванович не мог — такая боль!

Он полулежал на земле, я присел на пень. Растуряв выводок, Рекс вернулся к нам и остановился немного поодаль с отчаянно поджатым хвостом. К моему славному товарищу вернулось его самообладание и жизнерадостность: он не мог не посмеяться над Рексом:

— Повезло же этому сукину сыну! Ну кто его станет драть при этих обстоятельствах?

Я привязал собаку к пню.

— Что будем делать, Михаил Иванович?

— Гм... Сразу не придумаешь... А знаете что? Давайте пригласим У-Тана, еще кое-кого и устроим сессию ООН!

Гадать, разумеется, было не о чем: необходима лошадь с телегой.

К счастью, мы ушли в Гослесфонд неглубоко: до клеверного поля нашего Заветова было не больше полутора километров. А там шла уборка — были люди!

Выбежав на опушку, я увидел, как кипела работа. Колхозники, больше женщины, подавали сено на стог. Несколько подвод возили к стогу копешки из дальних углов поля; еще одна лошадь таскала грабли, на железном троне их сидел худой-прехудой Сергей Батраков.

Я подошел к стогу, около которого задержался он и как раз подъехала одна из телег с небольшим возом

сена. Правил этой лошастью пятидесятилетний Чуракин, седой и коротконогий мужик, счастливо избежавший на войне ран и вообще всех ее тяжелых трудностей, — он служил в БАО, батальоне аэродромного обслуживания. Ну я, конечно, к нему:

— Евдоким Матвееч, пожалуйста! Беда у нас. Михаил Иванович ногу не то сломал, не то вывихнул. Тут рядом — километр какой-нибудь. Поедьте, пожалуйста, отвезем его в деревню!

Чуракин почесал бритый подбородок, почесал затылок:

— Как сено бросить? Поди — брось! Бригадир трудовень не запишет.

Вмешался Сергей:

— Человек в такой беде, может, и вовсе ногу сломал, а ты только свой трудовень помнишь! Поезжай, помоги!

— А ты что тут за командир? Будешь бригадиром, тогда и приказывай. Вон, гляди: туча заходит. Как от сена уехать?

— Туча! Облачинка потянулась, а тебе уж и весь свет застит! Слезай с телеги, садись на грабли и трудовень мой себе запиши!

И настолько решителен был тон Сергея, что Чуракин согласился. Кстати, он, конечно, и понимал, насколько легче на граблях. (Ради легкости бригадир и дал грабли больному Батракову.)

Мы прискакали к Михаилу Ивановичу за пять минут, но долго пришлось нам повозиться с погрузкой покалеченного — уж очень болезненно было повреждение ноги.

В деревне прыгавшего на одной ноге Пенина мы, подставив ему под руки свои плечи, довели до кровати, с превеликими трудами и заботами разули, и он лег.

— Надо Сергею заплатить, — шепнул мне Михаил Иванович.

Сергей услышал и возмутился:

— Вы чего? О... — и он выразился неповторимо: — ...али вы сшатели? Помочь в беде — да нешто за такое бывает плата?

Я постарался успокоить его, умаслить, но уехал он сильно сердитый.

На другой день я сходил в Долгово, привел фельдшера с тамошнего медпункта. Он подтвердил то, что мы уже и сами определили: кости целы, сильное растяжение связок. Фельдшер рекомендовал горячие ванны для стопы, бинтовать, а главное, полный покой на две недели.

Михаил Иванович вознегодовал:

— Не согласен! Я же не лежать приехал! Я на охоту пойду!

Фельдшер улыбнулся и сделал скидку до десяти дней лежания.

Две ли недели, полторы ли, но у Михаила Ивановича занятие есть: поправляться. Ну а я? Что я буду делать с Рексом один?

Были с собой привезены книжки. Читал я день, читал другой... А дальше что? Больной подал совет:

— Да позовите вы, Василий Иванович, Батракова. Будете с ним по очереди править и стрелять. На граблях работы больше нет. А что еще Сергей может? Лен убирать вручную — ему не под силу. Пойдет с вами!

И я навестил Батракова.

Бедно было у него в избе, совсем не так, как у большинства заветовских колхозников. Полы некрашенные, на столе старая, до дыр протертая клеенка, стулья самодельные, расшатанные, занавеска, отгораживающая угол у печки, вовсе полинялая...

Сергей с худым серым лицом, с плечами, резко, углами торчащими под рубашкой, сидел на низенькой скамеечке возле пристенной широкой лавки. На ней стоял большой флакон резинового клея, лежали куски резины, рашпили, ножницы. Под лавкой кучей громоздились резиновые сапоги разных размеров — штук побольше десятка.

Увидев гостя, хозяин отложил в сторону рашпиль, которым зачищал на небольшом сапоге место под заплату. Поздоровались. Я присел на лавку.

— Я к тебе, Сергей Ефимович, с предложением: не сходим ли на тетеревов? С Рексом ведь только вдвоем можно.

— Кабы свободен, сходил бы. А то, видишь, тетка Прасковья работы нанесла.

— Зарабатываешь?

— Какие тебе заработки! С Прасковьи что возь-

мешь? Мужик где-нибудь в Германии лежит, а она тут с троими ребятишками мучится. С нее и спросить-то грех, язык не поворотится. А сапожишки — рвань, лепить да лепить — делов до самого вечера хватит.

— Ну так завтра сходим?

— А и завтра ничего не выйдет. Марфа тоже просила, такая же горюха... — ответил Сергей и только взялся за рашпиль, сразу же закашлялся и бросил инструмент на пол... Наконец перестал, отдышался: — Ну скажи ты мне, Василий Иванович, можно ль солдатчины слезы безо внимания оставить?

Через несколько дней мы с Сергеем все же раз другой сходили с Рексом в лес, постреляли. А то спасался я на Канавине, на утках.

На восьмой день после своей беды пошел на охоту Михаил Иванович, хромая, но пошел. Ну, уж конечно, он только стрелял, а управлять Рексом я ему не дал — как бы к беде не добавил и горя.

Наконец еще через несколько дней Пенин пришел в норму...

Тем временем август подошел к концу, а вот и совсем кончился. Сентябрь в свои первые три дня был ласков, но мы не охотились — давали отдых собаке, да и сами тоже подзаморились.

Собирались мы отправиться на добычу утром четвертого числа, но, пока наша Катерина Васильевна кормила нас завтраком да поила чаем с пирогами, пошел дождь, и мы застряли дома. Лишь под вечер из-за туч выглянуло солнце, потом они как-то рассеялись, заголубело небо, и зарозовели надежды на охоту. Но с Рексом поздно; решили мы постоять на Канавине, послушать звон утиных крыльев, может быть, сделать по паре-другой выстрелов.

Михаилу Ивановичу повезло: взял двух чирков. А у меня удачи не вышло: истратив пяток патронов, я остался ни с чем. Слабовата охота, зато заря чего стоила! Сперва она разлилась сплошным золотом, потом на золотом полотне явились узкие темные полосы туч, желтый свет постепенно перелился в багровый. На красном фоне тучи сделались черно-синими, а нижние края их — огненно-лиловыми.

Бесчисленны в природе краски, цвета, оттенки. Нас, северяй, чаще тешит она нежными тонами. Если

и зацвет зарю к морозу оранжевым, то и тут окраска все же мягка. Но тот закат окрасился смело и резко.

С охоты мы шли нога за ногу: зачем спешить от красоты? Полная луна плыла высоко, и под ее бесстрастным светом четко вырисовывалась каждая ветка на дереве, каждая былинка на земле.

Не хотелось в избу, не хотелось ложиться спать. Не сговариваясь, без слов поняв друг друга, решили мы посидеть, полюбоваться земным покоем, звездами, лунным светом, выбелившим стены деревенских домов. На бугорке у самой сельской околицы мы присели на толстое гниловатое бревно. Сидели, помалкивали — не тянуло к разговору... Вспомнился Левитан — деревенская улица, освещенная луной...

На краю деревни, ближе всех к нам, стояла изба Батракова. Она почему-то несколько оторвалась от порядка домов и оттого казалась какой-то сиротливой. Стояла печальная, угрюмая. Даже ночь не скрывала ее дряхлости. Крыша из дранки обветшала, потемнела и во многих местах пестрела светлыми под месяцем заплатами. Кровелька над низким крыльцом насупилась, припав вперед, в сторону улицы. В стене, обращенной к нам и облитой лунным светом, два нижних бревна подгнили, выщербились...

Послышались шаги. Мы насторожились. От леса к батраковской усадьбе по полю брели двое — мужчина и женщина. Они сгибались под тяжестью мешков. Ноша на спине у мужчины была заметно меньше, и по одному этому можно было догадаться, что это Сергей с женой. Уже на своей усадьбе они перемолвились вполголоса:

— Душит... Грудь вредно... — сказал Сергей.

Феня отозвалась:

— Потерпи. Лучше в избе покашляй.

Они скрылись по ту сторону двора (там были ворота). На крыльце не показывались, значит, прошли в избу двором. Глухо донеслись из дома долгий, мучительный кашель и оханье... Минут через пятнадцать — двадцать Сергей и Феня опять вышли из-за двора и зашагали усадьбой. Сергей остановился:

— Погоди... Дай вздохнуть...

Тревожно зашептала Феня:

— Да не ходи ты, Сереженька! Одна все выношу!

— Страшно тебе, Феня, среди ночи одной в лесу. Нет уж, еще раз сходим сейчас оба, а остальное завтра.

— Давай, Сереженька, я за Прасковьей сбегая, мы с ней и сходим. Ты же все равно решил ей мяса дать. Пускай поможет.

— Не дело болтаешь, Феня. Пойдешь Паньку будить, деревню всполошишь... — и опять он закашлялся, лег, уткнулся лицом в шапку, чтобы не слышно... Отдышался, встал... Побрели...

Что ж? Нам оставалось сообщить в сельсовет. Милиция нашла бы лосятину, Сергея наказали бы.

Ну а мы...

— Сколько горя на земле оставила проклятая война, фашисты... — прошептал мне Михаил Иванович, покачиваясь, как от живой боли.

...В конце апреля я приехал в Заветово на весеннюю охоту: в прошлом году Сергей Батраков указал мне два небольших глухариных тока, а тягу я сам подыскал. Сергея в этот раз я уже не застал. Его похоронили в феврале.

История с зайцами

Была у меня гончая собака, пегая, потому и звали ее Сорока.

Сорока хорошо знала свое дело, и, когда мне удалось выехать на три недели в глухую новгородскую деревушку, мы славно поохотились.

В начале нашей охоты был, как говорят охотники, чернотроп, а потом пошли выпадать пороши: заканчивать охоту пришлось уже белой зимой. На этом переломе лесные зайцы-беляки стали менять окраску: некоторые были уже совсем белыми, другие еще оставались сероватыми.

Насладился я и лесной осенней тишиной, и спокойным шумом темных ельников, и чуть слышным под

ногой шорохом влажных от дождя и уже потемневших листьев. Надышался я и днями ясными, бодрыми, полными солнца и свежего морозца, по-осеннему короткими, но по-осеннему и милыми своей задумчивостью, своим покоем. Радовался я и первому чистому-чистому, мягкому-мягкому снегу.

Красивы первые пороши. Лес стоит, не шевелясь, и как будто любит себя, своим новым белым убором.

Тишина.

Следов почти нет. Только белочка пропятавала ровную скатерть легкими своими следками-ямками, где все четыре лапки в кучке. Зайцы смущены новой обстановкой и словно постеснялись нарушить нетронутость снежной пелены, укрывшей землю. Беляк не дал следа, но гончая все равно разыщет его, поднимет и погонит, будя залившимся лаем лесную дрему...

Хорошо мы поохотились! Кроме той добычи, которую наша хозяйка жарила к обеду и к ужину, осталось к отъезду еще двенадцать беляков. Их я решил везти в Москву в качестве гостинцев родным и друзьям.

Я связал зайцев в две вязанки по шесть штук — все передние лапы вместе, задние тоже вместе, а между передними и задними ногами к каждой вязанке пристегнул по лямке. Надев рюкзак за спину и ружье в чехле через плечо, я мог навесить на каждое плечо по шесть зайцев — ноша серьезная, но это было самое деловое решение вопроса. Дорого, что руки были свободны; можно было вести на сворке Сороку и братья за поручни площадки вагона при посадке.

Дед Иван, колхозный конюх, лихо прокатил нас с Сорокой на санках до станции и уехал домой.

Взял я билет, дождались мы с Сорокой поезда, вышли на платформу, а пассажиров — тьма!

Вот прогремел и прошикал мимо нас паровоз, заставив Сороку шарахнуться подальше, насколько позволила сворка... Закипела посадочная толча; нас с Сорокой и тяжелой заячьей обузой оттеснили, мы оказались последними.

Трудно было с Сорокой: в лесу ей море по колено, а тут, в людской толпе, она изо всех сил рвалась назад, подальше от страшных человеческих ног, так больно

наступающих на лапы. Да и килограммов по двадцать пять на каждом плече мне тоже не помогали.

Когда я дорвался до вагона и, кинув на площадку вязанку с левого плеча и ухватившись за поручень, уже поставил на порог левую ногу, поезд тронулся. Моя правая нога поехала по платформе, и я не мог ступить ею на площадку или хотя бы на ступеньку вагона, потому что Сорока на сворке с немалой силой рвалась прочь.

Видя под собой зияющий провал между вагоном и платформой, я чувствовал, как теряю способность соображать. Вот-вот, казалось, я сорвусь и полечу туда!

Но... сорвался и полетел не я, а пук зайцев: лямка не выдержала...

А паровоз набирал скорость. Сорока, упираясь, тащилась уже позади, и казалось, не миновать и ей и мне упасть в страшную щель под колеса поезда, если не сделать что-то, а что — никак было не понять, не собраться с мыслями...

Платформа кончается!.. И Сороке и мне беда...

В этот миг, бросив сворку, я оттолкнулся от вагона и упал на платформу, почти на самом ее конце; благополучно прокатившись по ней, как хорошая чурка, я все же задержался у края.

Встал я и готов был изругать Сороку последними словами: ведь по ее милости я лишился всех наших богатых трофеев! Подлая!.. Но ко мне бежал со всех ног дежурный по станции в своей красной фуражке. Он был так перепуган, глаза его были так вытаращены и он до того запыхался при своей несколько излишней полноте, что мне стало совестно. Теперь опасность показалась мне пустяком, все событие только смешным.

— Не ушиблись? Ах как же это! Простите! Недосмотр!

Я отвечал, что пустяки, пройдет... жаль вот, зайцы, наверное, перемолоты колесами... а другие уехали...

— Подождите! Может, и не перемолоты.

Пошли обследовать место: удача! Шесть беляков аккуратной горкой лежали себе спокойно под платформой: наверное, их отшвырнуло туда подножкой вагона.

С какой же легкостью я прыгнул, нет, порхнул за ними с платформы!

Товарищ в красной фуражке был бодр и уверен:

— Беглецов поймает!

В «дежурке» он позвонил на следующую станцию:

— Товарищ Петров! Задержи шесть зайцев!

Почувяв добычу, тот отвечал с интересом:

— А где они?

— Едут от меня почтовым.

— Почтовый ко мне прибывает. Позову начальника поезда...

Через минуту в трубке послышался новый голос:

— Начальник поезда № 72 слушает.

— Товарищ, прошу, пожалуйста, задержать шесть зайцев.

— Чего вы просите? Это моя обязанность, — в голосе слышался профессиональный азарт. — А где они?

— В восьмом вагоне.

— Приметы?

— Три белых, три серых.

— Это у них полушубки, что ли, такие?

— Ну да, шкуры.

— Вы видели, что в восьмой попали?

— Видел, видел...

— Да, небось, разбежались уже...

— Да нет же! Как им разбежаться? Они же связаны.

Начальник поезда опешил:

— Как связаны?

— Веревкой!

— Да что вы порете? Кто их мог связать?

— Тут пассажир один, ну, охотник.

В трубке послышалось злое раздражение:

— Как не стыдно?! Тут поезд отправляется, а вы дурака валяете!

Трубка брошена, почтовый идет дальше... Что-то ждет моих зайцев? Я, конечно, законно приуныл.

А мой покровитель в красной фуражке не печалился. Немедля позвонил он на вторую станцию, в Бологое, и не без труда, но основательно втолковал тамошнему дежурному, что зайцы, хотя и едут без билетов, все же не безбилетники.

— Поймите, — просил он умильно и настойчиво, —

это буквальные зайцы. Уши длинные, хвосты маленькие... Которых охотники стреляют...

...Наконец все понято и договорено.

Со следующим поездом мой дежурный лично проводил меня до вагона. Только убедившись, что я, Сорока и шестерка беляков без опасностей погрузились на поезд, он дал отправление.

В Бологом, где остановка долгая, оставив связку зайцев и Сороку на попечение добрых соседей, я пошел к дежурному по вокзалу:

— Извините за беспокойство, — сказал я, — не задержались ли тут зайцы?..

— Вон они лежат в углу.

Так и приехал я в Москву со всей своей обильной и великолепной добычей.



Дело было на вологодских областных испытаниях гончих. Шла вторая половина сентября — осень еще только набирала силу.

По-разному украшаются осени: одни как будто не хотят раскрыть свои богатые возможности и, лишь кое-где обрызгав березы тусклой желтизной, исподволь обирают листья с них и с немного более нарядных осин. Ждешь-ждешь, когда же заблещут в лесу огневые цвета... а листья потихоньку спархивают и спархивают на землю... Глядишь, а лес уже совсем обнажился, так и не порадовав пусть недолгим, зато смелым разгулом красок.

А другие осени размахисто щедры. И тогда «в багрец и золото одетые леса» стоят под небесной голубизной такие праздничные, что невозможно ни наглядеться на них, ни забыть их.

Пышным и нарядным был и сентябрь того года. И, как всегда в золотые осени, поражала гармония спокойной синевы чистого неба и буйных красок ле-

са — крепкой желтизны берез, яркой «лимонности» старых осинников и их красного пламени.

Утренники схватывали лужи тонким ледком, таявшим лишь часам к одиннадцати, а землю, ее травы и мхи белая роса перед восходом солнца делала белесыми, седыми.

Дом, где расположился судейский штаб, стоял в конце деревни, вплотную подходившей к лесу. Каждое утро, раным-рано отправляясь на работу, мы, судьи, на минутку останавливались на поляне, которая вклинивалась в этот лес, нам не надоедало еще и еще поглядеть, как над посеребренной морозцем прогалиной горят березы и осины и как чернеют среди этого пожара куртины елей, словно подчеркивая силу красок старого лиственного леса и несмелую розовость молодых осин.

Что на редкость красивый лес радовал — это одна сторона дела. А вот другая представлялась не такой уж хорошей: трудновато приходилось гончим.

Ранним утром они должны были гнать по заиндевелой тропе, а известно, как мешает им иней: несколько позднее, когда на открытых местах солнце растапливало этот иней, а под пологом леса он еще оставался, тропа напоминала пеструю, пожалуй, еще худшую для гончей; наконец около полудня и позже иней стаял везде, но влажность на земле удерживалась недолго, становилось сухо и жарко. Тогда не только гнать, но и поднять зайца делалось мудрено.

Впрочем, не стоит повторять вот такие жалобные суждения некоторых гончатников, умеющих чуть ли не при любых обстоятельствах найти оправдания плохой работе своих собак. Опытные и чуткие гончие не нуждаются в подобной защите и гнать могут хорошо почти в любую погоду и по любой тропе.

Это доказала и русская выжловка Розка. Ее мы испытывали в послеполуденное время в самую сушь, под сильно греющим солнцем.

Некрупная, крепкая, пожалуй, немного простоватая, Розка была одной из тех деревенских гончих, которых из породы не выкинешь, но которым на выставке много не дашь.

Что было ценно у выжловки — это хорошо развитая мускулатура, правильные, сильные ноги с отлично

собранными комковатыми лапами. Сразу чувствовалось: здорово поработала собака за свои пять лет!

Привел ее на испытания паренек лет восемнадцати — невысокий, белобрысый, синеглазый и курносый. Он невольно вызывал симпатию какой-то своей простотой, открытостью. Фамилия у него оказалась самая подходящая для охотника — Порохов.

Парень сообщил, что отцу некогда: он — председатель колхоза, а сейчас самая уборка льна, ячменя, да тут еще картошка...

— А ружье у вас зачем с собой? — спросил я.

— А как же? Папе объяснили: на испытаниях, как на охоте!..

— Так это же собаку надо вести, как на охоте... но ружье вы взяли напрасно. Смотрите, молодой человек, не вздумайте стрелять!

Юный Порохов тяжело вздохнул...

Впрочем, мне пришло в голову: пусть парень таскает свое ружье. Оно нам может очень пригодиться, если, например, какую-то слишком вязкую собаку не снимешь с гона без отстрела зайца.

Розке сухая тропа оказалась нипочем. Всего через полчаса после напуска она раздобыла беляка на старой травянистой вырубке. Ну и залилась же она! Просто захлебывалась! Наверно, заяц вскочил у нее из-под морды. И подняла Розка самостоятельно и быстро, и погнала уверенно. Судьям повезло: еще не успели мы разойтись в разные стороны, как уже через четыре минуты после подъема зверя перевидели гонного беляка. Он был некрупный — очевидно, прибылой из раннего помета. Через минуту следом промчалась Розка.

Гнала она хорошо — ровно и верно. Жаль было лишь, что из-за неважного голоса, однотонного и глуховатого, а значит, и малопродуктивного, в ее работе не получалось блеска, дорогой охотнику зажигательности. На гону у нее выходило что-то вроде йэх-йэх-йэх-йэх... немножко как-то смешно. Зато своего какого ни на есть голоса Розка не жалела, отдавала часто и довольно горячо; гон получался веселый. На пятнадцатой минуте выжловка сбилась и смолкла, но, старательно и умело выправляя скол на бойком галопе, она уже через шесть минут выпуталась из затруднения и

погнала дальше, сперва по-удалелому отдавая голос несколько редкоскало, но вскоре опять надела на зайца, и гон снова стал горячим и нескучным. Розка гнала и гнала, перемолчки были, но нечастые, да и продолжались всего полминуты-минуту, редко две.

Прошло уже минут двадцать пять гона, и становилось ясно, что собака «тянет на диплом».

Подравниваясь к гону, я, один из моих товарищей по судейству и молодой хозяин Розки вышли к пожне — узкой поляне вдоль речки. Здесь мы остановились в опушке.

Розка гнала беляка где-то по ту сторону речки и, казалось, вела его к нам, пожалуй направляясь несколько правее.

Порохову страстно хотелось встретить зайца. Он сорвался с места и побежал вправо, быстро скрывшись за ольшником, который образовал здесь довольно густую куртину.

«Еще оттопает!» — подумал я и крикнул юнцу:

— Не бегать! Замри на месте!

А беляк за речкой опять обманул собаку, она скололась и, должно быть, позволила зайцу порядочно оторваться.

Выправив след минуты через три, Розка повела влево, загигая в то же время к речке.

Мы, судьи, замерли и во все глаза следили, не мелькнет ли заяц. Порохова не было ни видно, ни слышно. Наверно, оробев от моего строгого окрика, он действительно замер.

...А беляку вздумалось прокатить пожней... Вон, вон он скачет вдоль поляны! Неторопливо «прошел», как говорят охотники про гонного зверя, краем поляны мимо нас, целя прямо туда, где скрылся Порохов. За ольшником заяц пропал...

Ох, не испортил бы парень всю обедню!.. Прошла минута...

— Граждане судьи! — слышался крик. — Сидит! Можно стрелять?

— Ни в коем случае! — грозно приказал я.

Из-за ольшника донеслось с надрывом:

— Ой, мука какая!

Справа, не близко от нас, на поляну выскочила Розка, порядочно отставшая от беляка. Почуввав воду,

выжловка смокла, бросила след и побежала к речке. Там она полезла в воду и стала купаться!

Застрочили судейские карандаши в судейских книжках, фиксируя, очевидно, бесславный конец славно начатой Розкиной работы.

— Граждане судьи! — услышали мы жалобный вопль. — Он все сидит! Я стрельну!

— Не смей! — рявкнул я.

И опять невидимый за ольшником страдалец простонал:

— Ой, мука какая!

Как ни твердо работала Розка, но, очевидно, жара доняла ее. Выжловка, как говорится, зарьяла и не удержалась от соблазна искупаться. Но наскоро полакав воды и проплыв метра два-три, Розка выпрыгнула на берег, отряхнулась и со всех ног бросилась к следу. Став на него, она погнала полным ходом и во весь голос, как ни в чем не бывало. Пронеслась она мимо нас, скрылась за ольшником и, должно быть, там, где ~~заяц~~ сидел, терзая сердце молодого охотника, завизжала, как на помычке, и повела еще горячий.

Купанье гончей на гону не такой уж редкий случай, но это безусловно высокая марка.

Жара истомила собаку, проскакавшую за зверем уже много километров, — и вот речка! Какое блаженство искупаться! Казалось бы, не расстаться с таким раем, а гончая твердо помнит дело и, слегка освежась, мчится на оставленный след, чтобы гнать, гнать — вязко, упорно, верно... Честь и хвала такой гончей!

С удовольствием судьи присудили диплом вязкой и премудрой выжловке. Подошел растерянный Порохов. На лице его было написано: «Как же это? Упустили...»

Я по обычаю поздравил его с Розкиной победой и попросил поскорее подловить ее. Он покраснел от радости, но тут же спросил:

— А как же заяц?

— Что как?

— Неужто так и останется?

Смущенный и расстроенный, глядел он на меня непонимающими голубыми глазами и даже рот приоткрыл в своем горьком недоумении: что ж это за люди, что запросто упускают зайцев?

Не бросишь!

Начало декабря. Деревушка среди новгородских лесов и болот. Здесь — то, что я люблю: леса дремучие, болота глухие.

Пороши хороши, но мои гончие скучают; им на беду я с собой привез из Москвы работу: сижу, пишу целыми днями.

...Я писал, а сам поглядывал в окно. За ним лежала свежая печатная пороша. Решил: завтра — обязательно гонять!

Но вышло не так. Когда уже стемнело, пришел Тимофей Павлович — колхозный бригадир и славный охотник. В колхозе умный и, что называется, двужильный Кунин — козырь, а для пушнозаготовителей — находка: много он сдает белок, приносит горностаев, норок и даже куниц. Охотник хорош, да и остроухая Умка у него — дельная собака.

Вошел, снял шапку, обнаружив лысину, расправил усы, уставился на меня пристальными серыми глазами.

— Ты ничего не знаешь? — с прокурорской суровостью спросил он.

— Не знаю... — виновато ответил я. Несомненно, надвигалось известие чрезвычайное.

Он сел на лавку. Медлительное свертывание цигарки дало мне почувствовать значительность момента. Наконец она задымилась.

— Я ныне ходил на Гагарье озерко окуней блеснить. — Последовала пауза в густом махорочном дыму. — Шел туда, а на Мартыновской тропе вроде следы запорошенные. Без внимания мне... А потом на озерке дерну, дерну блесну, а думка: «Откуда тут лошади взяты?» Шел назад — разобрался. Пролез в ельник, а там в затишке лапища — когти как напечатаны. Надо убить.

— Постой, Тимофей Павлович, разве можно медведя без лицензии? Я в прошлом году был в Белоруссии, так там на медведя давно строгий запрет. Мало их.

— Где мало, а у нас через меру. В нашей области покуда никто не запрещает — бей, пожалуйста¹. Завтра надо идти, — сказал Кунин. — Пойду сейчас по бригаде, наряжу народ на завтра.

Встали затемно. Пока добрались, рассвело. След не из крупных: зверь — пудов на пять.

Стали окладывать к северу от тропы. Пересекли мы полосу старого ельника, с полкилометра шли на восток краем болота, опять повернули вправо и долго брели на юг. Но вот и наш след. Выходного медвежьего не было. Зверь — в первом же кругу. Удача!

— Погоди радоваться, — обронил Кунин. — А сколько номеров да загонщиков надо на такой обширности? Резать, убавить придется.

Половинить отправился он один — шума меньше: зверь лежит на слуху. Я стал у входного медвежьего следа, как на номере.

Медведь медведем, но не мог я не любоваться жизнью, которая припорхала ко мне в заснеженном, принаряженном ельнике. Припорхала, посвистывая и попискивая в образе стайки синичек. Было так тихо, что перелетывание крохотных гаичек, лазоревок, москвовок слышалось как заметный шум. Пропорхали и исчезли. А ели, осины и березы, не шевелясь, вслушивались в звуки удаляющегося легкого движения... Но вдруг Кунин стонит и зверь пойдет сюда! Я глядел во все глаза, тихонько поворачивая голову из стороны в сторону.

Гляжу — торопится мой товарищ своей хромающей, но быстрой походкой. Подошел, рассказал, что, разрезая оклад, видел такие же припорошенные следы: подошли к яме под корнями вывороченной ели и прочь влево же. А яма что печь. Вот бы где «ему» лежать!

Ну что ж! Оклад небольшой, до деревни километра три-четыре. Взять загонщиков да и облава?

— Неправда! — сказал Кунин. — Пойми ход! Три номера надо.

Пошли домой. Я мысленно составлял вызов-телеграмму москвичу-приятелю...

¹ До недавнего времени в Новгородской области ограничений не было. (Прим. автора).

Прошагали мы метров триста и ахнули! Через наши утренние следы махом проскакал медведь! Кунин свирепо плюнул: «Согнали!»

Назад, проверить! И попали мы к тому самому вывороту, у которого присел окладчик, вглядываясь во тьму ямы. Из нее скакал теперь новый след! Медведь-то видел охотника и, как только враг скрылся, давай бог ноги! Почему же вставал он из берлоги, делал кольцо на Мартыновскую тропу? Чтобы Кунину свой адрес сообщить? А вот почему: на бугорке над берлогой виднелся такой же заметный след проскакавшей дикой козы. Ее прыжок пришелся как раз над Мишиной пещерой. Коза протопала, на хозяина ямы посыпались комья земли. Он в испуге или недоумении вылез, прошелся, успокоился и вернулся в свою яму.

Но нам-то что теперь делать? Догонять! Где-нибудь да ляжет!

Много было пройдено за день сосняков, ельников, березняков, логов, болот, суболотей... Перед сумерками след стал петлять: зверь выбирал место, где залечь. При одном из окладных маневров мы выскочили на поляну... В тот же миг против нас из ельничка высунулось бурое и скрылось — ахнуть не успели! Ох, горе! Не скоро теперь ляжет!.. И побрели мы домой.

А впотьмах «кочка что бочка», как скажет Кунин. Шли мы, спотыкались, падали, садились... До того измучились, что даже, увидев огоньки деревни, еще раз сели отдыхать...

А на завтра опять дорассветное вставанье, опять ходьба, ходьба, продиранье сквозь еловые чащи, увязание в непромерзших болотах, перелезание через буреломные завалы. Шли, шли, загибали круг за кругом и всё — выходной след, и опять выходной след... Ничего доброго мы уже не чаяли... но в последнем, сумеречном кругу получилась удача: медведь оказался в нем.

Домой!.. Мрак, спотыкания, привалы, с которых, кажется, не встать...

Зато потом пошли дни полного отдыха. Тимофей Павлович решил:

— До нового снега в лес — ни-ни! Пусть «он» облежится, про нас позабудет. А ведь беда нам! — доба-

вил Тимофей Павлович. — До деревни верст восемь. Кто в такую даль пойдет загонщиком?

— Значит, Павлович, москвича не вызывать?

— Какой тебе москвич!

Обдумали мы с Куниным и надумали: дадим зверю разоспаться, а потом прострочим весь оклад челноком. Убьем на подъеме, а то и «на корню», лежащего.

Взялись мы за работу: я за стол, а у Кунина по бригаде дел набралось куча.

Работа и отдых. Красивые яркие морозные дни.

Прошло их, должно быть, пять, и в сумерках посыпался реденький снежок. К рассвету перестал, не скрыв, а лишь затуманив старые следы.

Посудили мы, порядили: облежался-то крепко, да ведь на голы! Кунин настаивал: идем! Все равно спит он, подпустит! Не терпелось человеку! Ну а я... да ведь и я охотник!

Потру ветер шумел в вершинах леса, осыпая нас снежной пылью. Натропили зайцы, попадались лисьи и рысьи нарыски.

В болотах ход тяжелый — снегу порядочно.

Пришли. Проверили оклад. Принялись строчить челноком, вроде хороших пойнтеров. Сперва проложили ход вдоль края оклада, идя шагах в двадцати друг от друга параллельно. Дойдя до конца оклада, пошли в обратном направлении, конечно забрав новую полосу места. Так и сновали из конца в конец. И все вглядывались в куртинки ельничка, в валежины... Вдруг я отчетливо уловил запах медведя:

— Стой, Тимофей Павлович!..

Осторожно продвинулись шаг за шагом... И, черт возьми, — вот тебе свежий след медведя! Услышал, не подпустил!

— Скотина разнесчастная! — ругал зверя расстроенный Кунин.

Отдохнув, выпавшись, я решил отступить от медведя. Но разве Павлович помирует? Надо было видеть его сарказм:

— Эх, охотничек! Ты погляди, какой день! Душа в лес просится!

И я сдался, и опять весь день мы шли, шли лесами, болотами, логами, загибали круги, проклинали выходящие следы...

Заночевать пришлось в Раменье, деревне километрах в пятнадцати от дома. Вон куда нас занесло! Знал бы — ни за что не пошел бы!.. Зато на другой день обложили чуть не в первом кругу. И опять далеко от всех деревень...

Я уныло констатировал:

— Опять вся надежда на челнок...

А Кунин назидательно ответил:

— Ну уж теперь не касаться к «нему», покуда не засыплет!

Сказал, будто не он меня в прошлый раз тянул!

Два дня сидел я, работал безотрывно. А на третий урвался с гончими. Подняли беляка быстро, лихо провели два круга, и я довольно красивым дуплетом взял зайца, мелькнувшего в осиннике.

А в сумерках навестил меня Тимофей Павлович:

— Ну нету мне покоя, да и все тебе! Вдруг кто найдет нашего медведя! След длинный, долго ль наткнуться? Надо каждый день проверять. Если кто сунется — отважу живо!

Как он думал отвадить, это его дело.

В тот день он уже «сбегал». Недурная пробежка! Туда, назад, да окружить — километров двадцать!

А на следующий день — это было уже двадцать первого декабря — не успела еще хозяйка моя поставить утренний самовар, как пришел Кунин. Он стал просить меня:

— Сбегай, Василий Иванович! — умолял он. — Проверь! Пожалуйста! Баба шею переела: вывези ей из лесу стог!

Конечно, Настя была права: кормить скотину нечем, сено из леса необходимо вытащить, пока снег не заглубел, а муж — на охоту да на проверку еще какую-то! Но я не мог бросить работу:

— Да ну его к чертям, твоего медведя! Душу он выматывает!

Кунин мрачно выслушал и, не молвив больше ни слова, ушел.

А на следующее утро Тимофей был опять тут как тут. Вчера он сбегал-таки на оклад, разругавшись с женой и задав корове соломы. И был убежден, что ходил не зря: в полукилометре от заветного места встретил он следы двоих людей.

— Вчера, слава богу, не перехватили медвежьёю дорожку, а ныне? Сходи, Христа ради! — молил Кунин. — С сепом ну никак нельзя...

И я «сбегал». Кроме вчерашних людских следов, виденных Куниным, других, к счастью, не нашлось.

А на поход жаловаться не стану, хотя от жестокого мороза даже туман стоял и на деревьях навис иней. Уж очень красиво было: когда всходило багровое солнце, оно чуть окрасило вершины деревьев в красноватый цвет, как бы подсиненный и притушенный туманом...

Дождались мы! Закрутила желанная метель. Всю ночь, весь следующий день пуржило. Бушевал ветер, снег валил хлопьями, забивало им межи и канавы. Подумать только, что творилось в лесу!

Вечером, очень довольный, друг мой говорил:

— На нашу мельницу вода! Вот когда зимушка разгулялась!

На вторую ночь утихло. Ну как тут было не пойти к окладу? В лесу стало ни два ни полтора: без лыж худо и на лыжах не добро. Ходили без них. Опять челночили по окладу, выглядывали: не под той ли валежиной? не в этом ли буреломе? Увидел я занятую кочку — буроватая и почти не замечена снегом... А она как вскочит и, став вдруг совершенно как медведь, — в два прыжка у еловой чащи! Я сорвал с плеча ружье: бац! бац! На следу несколько красных точек... Мой соратник негодовал:

— Эх ты, зритель! В двадцати шагах зверя не понял!

Крыть было нечем. О господи! Все сызнова! Не бросишь ведь!

И пошли мы, и пошли — кругами, зигзагами да обходами. К вечеру еле живые обложили. А сколько еще нам до дому! И как одолели мы это «сколько» — о том лучше не вспоминать!

А потом нужно было ждать пороши, вьюги... И пришла пора мне ехать в Москву... Да и Кунина привязал к кладовой учет семфонда.

Пришел он прощаться:

— Не забудь! Приезжай скорее!

Пусть не волнуется — недели через две урвусь.

А вышло, как не ждал: дела не отпустили в январь.

И восьмого февраля пришло от Кунина письмо, очень горькое: «...что ж ты делаешь не едешь а медведь в весе убывает, поймей совесть...».

Я «поймел совесть» и 11 февраля прибыл к Кунину. И разумеется, еще до света пошли мы на оклад.

Снегу видимо-невидимо! И лежал он рыхло — ни единой осадки за зиму! На лыжах — наказание...

По приметным куртинам ельника, по холмам и низинам восстановили мы границы оклада — ну и давай строчить. Лыжи тонули в рыхлом снегу, и где-то там, в невидимой глубине, их ловили скрытые пеленой снега кусты ивняка, валежины, какие-то еще непонятные преграды, ловили, вели в сторону, брали на излом. Падали мы, ныряли, выпутывались, опять ныряли... Но зорко искали признаки берлоги!

А снег, невозмутимо ровный и безупречно белый, хранил свою тайну... Хрустнуло! И моя правая нога ухнула уж и вовсе не поймешь куда, а концы сломавшейся лыжи весело высунулись на свет божий: вот и мы! Товарищ мрачно отпустил меня:

— Вали на Байневскую дорогу. На ней вроде санный следок бывал.

Ведро пота пролил я, пока добрел на одной лыже до дороги. Только сел отдохнуть — выстрел! А второго нет! Ловко! Одной пулей! Ай да Павлович!

Зависти не было, только радость: развязались!

Ждать его — замерзнешь. Да и все равно мы с ним не пара: без лыж по такой занесенной дороге не разгонишься. Пойду — догонит!

Но он не догнал. А я дома забрался на печку, наслаждаясь теплом и отдыхом. Но вот и мой товарищ.

— Поздравляю! Неужто с одной пули наповал? Завидую!

— Чертова прохвостина! — разразился Кунин. — Будь он проклят, этот медведь! Я завидел — буреет, раз туда! А это пень!

Вечером мы добыли лыжи и для меня.

Ну а к рассвету прикатили к окладу по вчерашней нашей лыжне. Побежала с нами и кунинская лайка Умка... А мороз! Зверский!

Приехали. Принялись строчить промежутки между вчерашними строчками: здесь же «он» где-то! Не провалился же сквозь землю! Сновали, ныряли...

— Зарядить патрон не умеешь!

Но медведь-то был взят!

Из трех с половиной лыж, привязанных за носки к поперечной палке, сделали мы волочугу. Пояса и ружейные ремни-погоны пошли на лямки.

Два упорных, безотвязных охотника впряглись и везли медведя не один километр по глубочайшему снегу на Байневскую дорогу, где «вроде санный следок бывал».



Сподсадной

Красива эта весенняя охота, но я в ней что-то разочаровался.

Несколько лет назад приятель зазвал меня к себе в подмосковный район «заняться» с его замечательной уткой.

— Надя у меня такая гениальная! — расхваливал Михал Михалыч. — Не то что селезня — самого господа бога на воду осадит!

Не поверить я не мог: Михал Михалыч охотник настоящий.

Разве против такого соблазна устоишь?

Приехал я к другу в разгар весны. И сам был радостен, и погода сияла. А вот хозяин утки встретил меня в кислом настроении:

— Дела одолели! Не до охоты! Вы уж один пока с Надей сходите.

Я знал места, да и Михал Михалыч хорошо объяснил.

Шлепая ночью по воде — где по щиколотку, а где и выше, я недолго бродил по луговой пойме речки и удачно нашел шалаш, поставленный моим гостеприимным товарищем на краю разливного плёса. Пошарив в шалаше, я нашел кирпичину-якорь и крест-накрест обвязал ее свободным концом бечевки, другой конец которой был вшит в ноговку. А ноговку надел на ути-

ную ногу и зашил собственноручно сам Михал Михалыч.

Наученный горьким опытом «отрыва подсадных от производства», чуть только позволишь себе небрежность в привязывании утки, я отнесся к этому делу со вниманием. Главное, не торопись! Бечева была длинная, можно было обмотать кирпичину дважды. Обмотал, завязал, проверил — не сползет ли?

С работой своей я управился своевременно и, когда, подтянув голенища, забрел в разлив и высадил утку на воду, потемки только еще чуть заметно стали редеть.

Любо охотнику, когда снасть в порядке: ружье надежное, сапоги новые, чуть не до пояса, шалаш удобный и плотный, окошечки для стрельбы аккуратные, чистые.

А утка-то! Восторг! Лишь попила да искупалась — и давай кричать! Сама небольшая, хорошенькая — пожалуй, пожалеешь, что ты не селезень, а то приударил бы за такой!

Залив полый воды, по словам Михал Михалыча, был неглубок. «В любом месте «таких» сапог хватит. Ямки попадают, ну да не бегать же вы там станете — не спеша преспокойно пройдете. Но, — предупредил приятель, — течение в реку бывает. Смотрите, чтобы селезней не унесло».

Шалаш расположился на узкой, заросшей кустами полоске берега между разливом и коренным руслом речки. Слышно было, как она за моей спиной побулькивала, переговаривалась со стоявшими в ней по колено ольхами и ивняком.

Заря разгоралась. Влево виднелись огнистые полосы, разделенные горизонтальными лентами мутных сине-серых туч, снизу подчеркнутых малиновым золотом. Повыше — малиновый огонь превращался в багровый, потом шел переход в более скромное оранжевое сияние, верх которого переливался в притушенное желтое. Еще, еще выше небо слабо светилось зеленоватым оттенком, а там, куда заря пока не достигла, там, на зелено-синем темном фоне, еще горели самые сильные звезды.

Природа хороша всегда, во всякое время года, во всякий час — только умей видеть. При самой постоян-

ной погоде ее краски, освещение, настроение непрерывно меняются, и уж очень радостно следить за изменениями в «выражении» пейзажа, его частей, отдельных предметов... А когда светает, перемены особенно чудесны!

Надя стала вырисовываться отчетливее. Она спокойно плавала туда и сюда, как бы проверяя свои возможности. Она охорашивалась, купалась и, встав дыбком на хвост, быстро, быстро махала крыльями... Засвистал дрозд, запела зорюнка, недалеко заиграл бекас. Теплый ветерок налетел, обласкал, шепнул что-то обнадеживающее, хотя и невнятное.

Вдруг Надя принялась взволнованно озираться, да как даст призыв: кря, кря, кря, кря, кря! — так меня аж жаром проняло. Селезня заслышала!

И действительно, свисвисвисви — донеслось и до моего уха. Как крепко, упруг этот посвист крыльев!..

Вот и мягкое, вкрадчивое, убеждающее «шарканье»...

Надя так разразилась «на осадку», так затрепетала, что селезень, не мешкая, с размаху ударился в воду и поехал по ней шагах в десяти от утки. Надо стрелять скорей, пока безопасно для Нади!

Выстрел ухнул, и эхо понесло его перекатами по береговому ольшнякам и недалёким перелескам. Селезень перевернулся вверх брюшком, замер... Медленно, но определенно его стало относить в сторону реки.

Как ни досадно доставать добычу в разгар лета, пришлось лезть в воду и брести к селезню. Шел я осторожно — ямки таки попадались. Приближение малознакомого человека Надя приняла опасливо и с испуганным побрякиванием рванулась, впрочем, тут же и успокоилась.

Подняв селезня, я повернул к шалашу и... вдруг заметил, что моя подсадная плавает как-то подозрительно в стороне... Оторвалась! Нужно было зайти слева, с глубины, чтобы отрезать утке путь в просторы разлива и завернуть ее к берегу. Я спешил как мог, но попробуй бежать, когда вода глубже чем по колено! Я спешил, проверять дно было некогда и — ух! — по пояс ввалился в яму! От холодной воды даже сердце зашлось!

Но скорей! А то утка уйдет! Да не разгонишься,

если «такие» сапоги полны водой! Я, конечно, отставал от Нади, но, крейсируя то влево, то вправо, в зависимости от ее движений, все же направлял беглянку к берегу, к шалашу.

Вот Надя выскочила на бережок и быстро-быстро заковыляла мимо скрадка. Мне показалось, что бечевки, хоть маленького обрывка, за Надей не тащилось...

Утка шмыгнула совсем рядом с шалашом и исчезла в затопленном ольшнике!

Пропала утка, пропало и очарование чудесного весеннего утра... Осталась лишь горькая необходимость разуться, раздеться, вылить воду из сапог, выжать, выкрутить ее из одежды и вновь облачиться в мокрое, холодное...

Проделав все это, я побрел в деревню, где меня ждала расправа. Попробуй докажи, что не виноват! Ведь кирпичина осталась на дне разлива!

Пришел. Так, мол, и так...

Обычно выдержанный, солидный Михал Михалыч схватился за голову:

— Что ж вы наделали! Не потрудились проверить свою привязку! Как же это люди так небрежны! Что же это за безрукие! (Он не сказал «идиоты», но это, кажется, подразумевалось.)

Я смиренно слушал. Веских оправданий у меня не было. Когда взрыв эмоций миновал, Надин хозяин объявил:

— Пойдемте ловить ее! Но прежде переоденьтесь.

Как обязательно получается в таких положениях, рукава Михал Михалычевых одежд были мне несусветно коротки, брюки в поясе в полтора раза шире потребности... Но все же это было великолепно — переодеться в сухое! Не худо было и то, что, собираясь в поход, мы основательно позавтракали...

Ловить утку в вешних разливах! Да есть ли какой-нибудь смысл в подобном предприятии? Но возражать я не смел, и мы отправились в экспедицию. Ее начальник (разумеется, Михал Михалыч) влез в огромные сапоги и взял с собой в корзинке селеня подсадной породы. По расчетам Михал Михалыча, за время после катастрофы Надя спустилась по реке километра на три-четыре. Здесь был, очевидно, учтен и ее тем-

перамент, и быстрота течения, и даже смещение в зависимости от вращения земного шара, а чего доброго, и какие-то космические воздействия.

Как раз в четырех километрах ниже по реке относительно места происшествия был шоссейный мост. По нему Михал Михалыч перешел на «ту» сторону, я же должен был двигаться по «этой». Так обследовались сразу оба берега реки.

Мы шли. Расстроенный Михал Михалыч время от времени выпускал из корзинки Васю (на привязи). Вася призывно «шаркал».

— Надя не стерпит! Вот увидите, как заорет, лишь заслышит своего!

Моему товарищу неплохо было идти чистой, луговой стороной, а каково мне в залитых ольшняках и тальниках!

Но он командовал:

— Чего застряли? Быстрее! Уток упускать умеете, а искать не нравится!

Он терзал мое сердце, а я молча страдал, как оно и полагается виноватому, страдал и из кожи лез, чтобы потрафить «начальнику экспедиции»; я торопился, застревал ногами в подводных «обстоятельствах» — корнях, сучьях, кочках, ямах. Много раз я должен бы был упасть и искупаться, но спасался, вовремя ухватясь за ольху или осинку.

А Нади все не было и не было! Я был убежден, что ее не найти. Ведь в чащах и зарослях она могла остаться незамеченной буквально в двух шагах.

Шли, останавливались. Выпущенный из корзинки Вася безуспешно звал даму и опять попадал в корзинку.

Я до того устал после бессонной ночи, тревог и ходьбы по этому дьявольскому разливу, по проклятым чащобам, что уже ничего не соображал: сколько километров мы прошли? Сколько часов длится эта мука?..

Вот снова селезень вынут из своей темницы и пущен на травку. И ему-то это, должно быть, осточертело. Вася подает голос лениво, разочарованно...

И вдруг в густых зарослях «моего» берега во всю мочь — кря-кря-кря-кря! Селезень ходуном заходил на «том» берегу и так заговаривал, что из моих ольхово-

ивовых джунглей Надя бросилась к нему поперек русла речки.

Я огляделся: батюшки! Да вот же он, шалаш! Надя и с места даже не тронулась. Зря же принял я столько мук!

А утка выбралась на тот берег и побежала к своему Васечке. Теперь ее манили двое — селезень и сам хозяин: «Надя, Наденька, Надюшенька!» Михал Михалыч звал так умильно, так убедительно, что казалось бы, ну как тут не послушаться!

Но сколько мольбы и ласки ни вкладывал он в свои призывы, Надя была себе на уме, бегала вокруг селезня, а в руки не давалась. Чем энергичнее ловил хозяин, тем виртуознее ускользала она. Кончилось тем, что Надя юркнула опять на воду и, став совсем уж недосыгаемой, принялась плавать вдоль бережка и изо всех сил звать к себе друга то оглушительным криком, то тихими приговорками.

Михал Михалыч убедился: видит око, да зуб неймет. И звучание его фраз так изменилось, что я уж воздержусь от их повторения.

Сели мы, каждый на своей стороне (Надя посередине), и провели совещание типа производственного.

Моя «лесная» территория внушила мне великую мысль: если собрать валеж да сушняк, да соорудить из этого добра ограду в виде буквы П, да в глубине этого двора привязать Васю, а самим ждать в сторонке, то...

Решено! Быть по сему!

Но Михал Михалыч со своим Васей может перебраться на мою сторону лишь по мосту, а до моста четыре километра... И все же он пошел, как ни горько было это бедняге!

Тут-то я и вздремнул в шалашике, на охапочке сена!

План удался без осечки. Вася мастерски выполнил роль предателя: утка попала в окружение, и, когда мы подбежали, она бросилась на хворостяной барьер и, пытаясь пробиться сквозь него, завязла и, конечно, была схвачена.

Владелец, задыхаясь после беготни, обозвал ее таким выразительным, хотя и очень кратким словом, что

она сразу притихла, будто обиделась. А определение это, пожалуй, очень даже подходило к Надиной не вполне благовидной профессии зазывания мужиков.

— Михал Михалыч, а ногавки-то, кажется, нет, — скромно заметил я.

— Как нет? Не может быть? Я сам пришивал!

Но куда денешься от факта? Ногавки так-таки и не было.

— Гм, гм... — только и произнес Михал Михалыч, но стал как-то особенно предупредителен и внимателен: — Смотрите, дорогóй, вот тут канавка. Не оступитесь! Подождите, я сучок отведу — не стегнул бы вас...

Для окончательного смягчения отношений он стал расписывать блестящие перспективы:

— Придем, да по рюмочке, да под селедочку, да по второй под колбаску, да по третьей... да борща, да...

Много у Михал Михалыча нашлось таких «да», и все они оказались правильными. Прекрасная хозяйка его супруга, Анастасия Власовна!

А в подсадной, как таковой, я все же что-то разочарован!

Моя первая гончая

Дела давно минувших дней...

Я стал бредить охотой с двенадцати лет. Отец мой, московский педагог, пришел в ужас. «Ты и порох будешь дома держать?» — ахал он (порох казался ему, пожалуй, страшнее нынешней атомной бомбы).

Все же мы договорились: кончу гимназию — будет мне ружье. Ждать приходилось больше пяти лет! И я ждал, терпел...

Знакомых охотников не было, поглядеть на чью-нибудь охоту не приходилось; оставалось одно — книги. И я читал все охотничье: журналы, сборники, руководства, преysкуранты охотничьих магазинов...

Но особую роль в определении моего будущего «охотничьего лица» сыграла «Война и мир» Л. Н. Толстого. Меня, четырнадцатилетнего мальчика, эта книга потрясла живыми судьбами людей, огромностью событий, великим обликом родины, впервые открывшимся мне тогда. Но как ни был я захвачен всем этим, а не упустил взять на специальный, так сказать, учет псовую охоту Ростовых, изображенную гениальным мастером с таким безукоризненным знанием дела. Я переписал для себя все тридцать страниц охотничьего текста и не раз, бывало, бросал какую-нибудь теорему или латинские глаголы, чтобы, вынув заветную тетрадку из ящика стола, вновь и вновь пережить рев стаи гончих на волчьем следу, травлю зверя борзыми... Мечта об охоте «вообще» сменилась стремлением к охоте псовой. Но ведь комплектная псовая охота доступна лишь помещику, да и то не из мелких! Промелькнуло было в моей пылкой голове план: после гимназии поступлю в помещичью охоту борзятником! Однако такой борзятник был все-таки на положении холопа... Грезы о борзых приходилось бросить. Но зато весь азарт, все помыслы были переключены на гончих. Их-то я добьюсь, заведу, конечно, не стаю, хотя бы одну собаку, а когда-нибудь, может быть, и смычок!

Как раз с двенадцати лет, с начала этих моих устремлений, я стал проводить каникулы и просто праздники в подмосковном селе Пронском, в давно знакомой нам крестьянской семье. Ее глава Иван Степанович благоволил ко мне и, бывало, баловал рассказами про охоты помещиков, у которых прежде служил в кучерах. Теперь он что-то не уживался на «местах» и подолгу жил дома.

Наконец мне восемнадцать лет, гимназия окончена. Я поступил в Московский университет. Куплены две «мечты»: фуражка с синим околышем (тогдашняя форма универсантов) и ружье!..

И вот началась прекрасная студенческая жизнь с ее лекциями, вечеринками, бурными сходками чуть не до утра. Вскоре я сделал открытие: лекции посещать ни к чему (это было тогда и не обязательно), а значит, необходимо купить гончую и приняться за дело! Стояла вторая половина октября — разгар охоты.

В воскресенье я помчался на Трубную площадь, или попросту на Трубу, как ее величали завсегдатаи этого рынка всякой живности. Шел я туда полный торжества и тревоги. Еще бы! Шел покупать гончую, которую так страстно ждал столько долгих лет! Перед моим волнением спасовал бы и трепет влюбленного, летящего на первое свидание.

Я ходил по рынку, не чуя ног, приценился и никак не мог понять, какая же из собак самая лучшая. Я уже было поддался обаянию нарядного ярко-пегого выжлеца; продавец — сухощавый, беловолосый старик в серой чуйке, засаленной и, как полагается, подпоясанной охотничьим наборным пояском, — говорил про своего гонца сиплым басом:

— Настоящий глебовский. А гонит хоть зайца, хоть красного — «дубом»!

Вероятно, меня пленило непонятное, но многозначительное определение «дубом», и я стал сторговываться со стариком. Но тут на ухо мне шепнули: «Барышник! Надует!» Я оглянулся и увидел полного краснощекого студента с блестящими веселыми глазами и в такой же, как моя, университетской синей фуражке. Он держал на сворке чепрачную выжловку. Не теряя времени, румяный сангвиник заговорил:

— Товарищ! (так студенты называли друг друга и тогда). Купите мою! Настоящая костромичка! Гонит без умолку!

У собаки была белесая морда, густой черный чепрак и прибылые пальцы, но я по своей неопытности поверил в костромичку¹.

Веселый студент бодро продолжал:

— Видите, какая породистая? Даже прибылые пальцы есть!.. А вы на каком факультете, товарищ?

— На естественном.

— Вот как хорошо! И я тоже естественник. Вы, наверно, первокурсник?

— Да, — ответил я, краснея. — А вы?

— На третьем. Так вот. Как старший товарищ, советую: берите мою. Студент студента не подведет!

¹ Густой черный чепрак и прибылые пальцы — признаки примеси польской гончей, признаки нечистопородности русской гончей. (Прим. автора.)

— А зачем же вы такую хорошую собаку продаете?

— Да знаете ли, товарищ, у Гришки (это мой двоюродный брат) выросла молодая выжловка. Принялась — лучше не надо. А Волга нам теперь ни к чему.

— А сколько осеней Волге? (я старался говорить по-охотничьи).

— Седьмая. Опытная собака! А опыт дороже всего. Волга — профессор! И не беспокойтесь, лет восемь у вас еще поработает.

Я понял: Волга — это моя судьба. Нужно хвататься за счастливый случай. А седьмая осень — какая же это старость? Цена была подходящая: за такого «профессора» всего пятнадцать рублей! (деньги в те времена все же заметные). Двенадцать рублей у меня было, но отец, конечно, добавит трешницу.

— Куда поедем пробовать? — спросил я.

— Да куда хотите. Только, если пробовать, отложим недели на две. У меня сейчас зачеты — не могу. Жаль только, чернотроп у вас пропадет! — вздохнул румяный.

Без пробы не берут гончих у чужих людей, но тут был «свой» — студент, да еще естественник. Смешно из-за пустой формальности терять целых две недели лучшего охотничьего времени. А не терпелось-то как!

— А если без пробы?

— Ну конечно же! Студент студента разве обманет? Да если Волга вам не понравится, ведите ее ко мне!

— Ладно. Только у меня трех рублей не хватает. Дайте ваш адрес. Сегодня же принесу остальные. — И я взялся за сворку.

— Нет, так неудобно, товарищ. Все равно вам приходить. Тогда и Волгу получите. А задаток давайте.

Я отдал весельчаку свои двенадцать рублей, а самого по сердцу резнуло: «Эх! Студент студенту на три рубля не поверил!»

Получив от отца три рубля, я помчался на Арбат. Там, в переулке, разыскал дом Спиридонова (такова была фамилия продавца Волги). Это был двухэтажный особняк в стиле модерн. «Вон какие студенты бывают!» — подумал я.

Юрий встретил меня в передней, взял свои три

рубля и послал горничную к дворнику, чтобы тот привел Волгу из сарая.

Наступил миг, когда я получил наконец то, о чем мечтал столько лет.

Я повел свое сокровище домой пешком: денег на извозчика не было.

Отец меня несколько огорошил:

— Почему твоя собака такая седая? Очень старая, что ли?

...Я не поддержал этот разговор.

В следующие дни я приучал к себе Волгу: кормил, ласкал, сидел с ней в ванной комнатухе, где она пока жила. Но эти старания были излишни: Волга и без того ко всем лезла на грудь целоваться. Тогда я удивлялся этому, а дело было простое: на своем немалом веку выжловка переменила столько хозяев, что для нее «чужих» уже не существовало.

...И вот как-то вечером выпала отличная пороша, первая пороша! И прекратилась она, как по заказу, к полуночи. Я, конечно, с самым ранним поездом поехал в Пронское. Со станции я вел Волгу на сворке, едва удерживаясь, чтобы не «набросить» собаку в первый попавшийся лес. Нет! Нужно побывать у Ивана Степановича, чтобы выжловка знала, куда вернуться, если гон затянется до темноты. Спиридонов рассказывал — как увяжется, так до ночи!

Гордо шел я. Смотрите все! За плечами — двустволка, впереди — гончая.

Подходя к Пронскому, я стал срезать по дугу дороги, и вдруг из-под межи вырвался розово-белосерый русак! Волга взревела и заметалась на сворке, сердце мое рванулось не хуже Волги. Трясущимися руками я кое-как отстегнул карабин поводка. Собака ринулась на след и погнала. Это был один из самых торжественных моментов в моей некороткой охотничьей жизни, один из самых лучших!

Голос у Волги был по-настоящему хорош: густой баритон, страстный, с заливом. Не помня себя, я бежал за гоним, изредка приостанавливаясь и вслушиваясь в немолчный, зажигательный рев, стон, плач. Но в книгах было писано: «...сообразить ход зверя и подставиться под гон»... Как это сделать, книги говорили много, но на практике как «сообразить», куда

«подставиться»? Впрочем, я неожиданно уловил, что тот же яростный гон стал приближаться! Русак, по-видимому, пошел своим следом назад, к лёжке. Я отскочил в сторону от следа и замер у ивового куста. Сейчас, сейчас?... Как тряслись руки! Только бы не промазать! Вон, Волга вдали скачет полным махом. Я ищу глазами русака где-то впереди ее, вглядываюсь в поле, но никак не могу найти зайца. А гончая, не смолкая ни на секунду, приближается и вот уже проносится мимо меня с тем же отчаянным зазвонистым ревом. Да как же я прозевал зайца? С досады так бы и грохнул ружье об землю!..

Я стоял на возвышении. Мне видно было, как Волга мчится под уклон к лежке тем же следом, которым гнала русака оттуда. Вон она вертится возле заячьего логова, не прекращая отдавать голос; вот она бросается все по тому же следу в мою сторону с голосом. Теперь она гонит, правда, не так горячо, трусит небыстрой рысью. Я выбежал на гонную тропу и стал разглядывать следы. Печатная пороша доложила мне, что собака проскакала здесь «туда» и «обратно», а заячий след шел только «туда» (то есть от лежки в гору, к лесу). Значит, Волга гонит теперь в третий раз по одному и тому же следу. Да что же это такое? А она подбежала ко мне и давай ласкаться: нагонялась!.. И побрел я с нею в Пронское...

Я рассказал все Ивану Степановичу. Он призадумался:

— Видать, собачка-то не добра. В пята гонит...

Я знал этот термин. В пята говорят про гончую, когда она гонит не в ту сторону, куда бежал зверь, а в обратную. Хуже чего нет!

— Не может быть, Иван Степанович, не у такого человека куплена!

— Да кто знает, может, я и ошибаюсь,— отвечал мой хозяин,— по одному разу судить еще рановато...

Переночевали мы с Волгой у Ивана Степановича, а чем свет пошли на охоту. Было тихое утро с легким морозцем. По небу сплошь шли тучи. А снег был такой же чистый и нетронутый, как вчера; зверь еще не свыкся с порошей и бродил мало. Возле овражка, на зеленях, которые кое-где виднелись из-под снега, я с содроганием сердца увидел русачьи следы! Волга

заносилась по ним, голося. «Небольшой добор допустим», — вспомнилась мне книжная фраза. А Волга, горячо взлаивая, скрылась в ольховых зарослях овражка. Спустя какую-нибудь минуту оттуда выскочил, очевидно побуженный ею, чалый русак и покатиł по лем шагах в сотне от меня. Далеко! Но не стерпело ретивое! Бах! Бах! Прогремел дуплет, и заяц, пуше наддава, пошел махать двухсаженными скачками.

— Волга! Волга! Волга! Вот! Вот! Вот! — завопил я. С ревом и визгом примчалась она, с разгона пересекла след, но вернулась на него и, бросившись в пята, погнала со свойственным ей жаром и вовсе не щадя своего поистине великолепного голоса.

— Назад! Назад! — кричал я, чуть не плача. Но собака уже влетела в кусты. Гон ее там замешкался. Еще бы! Дальше лежки-то гнать было уж некуда. Гон снова вспыхнул, собака снова вынеслась в поле и промчалась мимо меня с громом и звоном — только слушай! На душе стало легче: ошиблась сгоряча, а теперь погонит верно. Я поспешил на гору, куда побежал заяц. А гон, сделав вдали широкую дугу, повернул в мою сторону. Я вновь увидел русака, резво летевшего шагах в двухстах к нижней половине поля. С горы видно было как на ладони: спустившись в низину, заяц вдруг метнулся назад своим следом. «Двойку делает», — догадался я, любуясь быстрыми движениями зверя. Проскакав назад с полсотни шагов, заяц на миг задержался и, будто кто-то с большой силой швырнул его, отлетел далеко в сторону. Это он «скинулся», сделал «сметку». Продолжая свой бег к огородам, русак скрылся в бурьяне.

А вот и Волга. Она скачет тяжеловатым, но спорым галопом и на крутом повороте следа проносится прямо, не переставая голосить. Кружа по полю с заливыстым лаем, выжловка налетает на след русака и гонит дальше. Вот она и на «двойке» зайца. Не сбавляя скачки и все с тем же ярим лаем, она мчитса за тупик следа, но спохватывается: гнать-то не по чему! — и снова принимается кружить. Наткнувшись на след, по которому только что гнала, Волга приходит в экстаз и гонит в пята с таким жаром, будто видит зайца. Скача во все лопатки, она минует сметку и гонит в пята, в пята, в пята. Сейчас поймет... вернется...

распутает... Но у собаки нет и тени сомнения. Она гонит, гонит, вот уже чуть не полкилометра гонит неверно, хуже чем порочно! А я-то пять лет мечтал о ней, об этой Волге! Пять лет терпел, копил охотничью страсть!

Вечером я отвез Волгу в Москву, а на следующий день повел ее к Спиридонову, как он сам предложил. Но Юрия не оказалось дома, а ждать его в квартире мне не позволили. Еще несколько дней я водил Волгу в Арбатский переулок, но все с тем же результатом. Стало ясно: Юрий от меня прячется. Во время этих походов додумался я, почему продажа собаки не была поручена дворнику: разве мог дворник надуть так, как сумел сам хозяин? А не обманув, продать такую Волгу было невозможно. Когда я повел наконец собаку на Трубу, никто не хотел покупать ее без пробы. А пробоовать... мне страшно было и думать об этом! Подарил я Волгу одному пронскому пареньку, а тот побился, побился с ней, да и сбыл куда-то.

Началась первая мировая война. Многие надели солдатские шинели. Стал вольноопределяющимся и я. Охота, гончие — все это отошло на далекий, далекий задний план...

А со Спиридоновым я все же повидался еще раз.

После Февральской революции попал я с фронта в Москву, в отпуск. Чуть ли не на следующий день после приезда я по милости брата очутился в гостях у его приятелей по театральной студии. Вечер оказался людным, а молодежь собралась разная — больше студийцы да студенты из небогатых, но было и два-три человека что-то слишком уж разодетых. Я спросил у брата:

— Кто это вон тот румяный, толстый?

— Который? В темном смокинге? Так это же Юрий Спиридонов, сынок фабриканта-обувщика. Денег — куры не клюют! Тебе война осточертела, а им, брат, нет! Сам понимаешь, сколько сейчас сапог солдатских надо!

Я подошел к Спиридонову:

→ Не узнаете, Юрий Ефремович?

— Что-то не помню... — а у самого глаза забежали.

— За Волгу хочу вас поблагодарить, за «неумоляемого» гонца!

— А! Так это вы тогда купили?.. Прекрасная была собака!

— А ваш наглый обман еще лучше: «студент студента не подведет»!

— Вы забываетесь!.. — перешел он в контратаку.

Я было размахнулся дать ему по морде, но мой заботливый братец схватил меня за руку.

Больше я с этим субъектом не виделся. Когда весной 1918 года после демобилизации я вернулся домой, пришлось случайно узнать, что Спиридонова в Москве нет. Это, конечно, не было неожиданностью. Всю эту накипь выплеснула из России волна революции.



Старый рог

1

Еще двенадцатилетним гимназистом я начал ездить по праздникам в село Пронское. Был яркий, солнечный сентябрь, и поразил он меня сразу и навсегда своей прозрачностью, могучей голубизной неба, буйной желтизной берез — всем тем, что столько раз воспето и в поэзии, и в живописи и что неизменно поражает.

Останавливался я у Дарьи Антоновны, в небольшой старой избе, срубленной из удивительно толстых бревен. Хозяйка жила с тремя ребятами мал мала меньше, а муж служил в кучерах, в Москве. По моим тогдашним меркам, я считал эту женщину «пожилой», а было ей в ту пору всего-то лет тридцать.

Дарья Антоновна, пронская крестьянка, знала досконально грибные места, и, когда она водила меня в лес, я мог досыта насладиться и прелестью стаяк подберезовиков, и хвастливой красотой подосиновиков, и, главное, знающими себе цену кряжистыми боровиками.

Но еще дороже вошли мне в душу, на всю жизнь вошли, звуки чьей-то охоты с гончими (тогда на зайцев охотились с 1 сентября старого стиля, а на лисицу — круглый год).

Когда мы с Дарьей Антоновной брали грибы, грохотал, бывало, по лесу басистый голос: «Ух! Собаченьки! Буди его, буди! Ух, полазь! Ух, давай его, Набат, к весне новых народят!...» И вдруг где-то возникал вопящий взрев гончей, поднявшей зайца на глазок. К ней подваливали другие, и закипал дружный, яростный гон. Голоса гончих звучали с такой страстью, что меня прохватывала дрожь. Богатырский башур бахал густо и мерно, словно набатный колокол; захлебывался, рыдая, голос повыше; отчаянно и немолчно лились дискантовые переливы третьего голоса. И все это сливалось, переплеталось, перебивало друг друга, отдельные вопли прорывались сквозь гул хора. Да еще усиливало звуки гона лесное эхо со своими отголосками, и весь гам, рев, стон, плач играл как-то по-особенному мелодично и стройно.

— Вася! Вася! Что же ты! Какой боровик раздавил! — чуть не плача, взывала Дарья Антоновна. Она ведь никак не могла постигнуть, что со мной. Господи, какие тут мне грибы! Гонят, гонят!..

Я слушал, слушал... Досадовал, если гон прерывался, собаки теряли след... Но вот снова взрывалась горячая помычка гончей, преодолевшей хитрую запутанность следа... Подхватывали другие голоса, и опять разливался, гудел и плакал неистово заркий гон!

И мурашки бегали у меня по спине... Грохали выстрелы, перекликались охотники. И вставал густой, басистый гул рога: дооооо... Он тянулся, наполняя собой лес и вздымаясь к небу, обрывался... и возникало другое «до», октавой выше, еще более певучее, хватающее за сердце пронзительной торжественностью.

— Дядя Миша трубит. Ни у кого еще нет такой громкой трубы, — говорила Дарья Антоновна. — Собак созывает.

2

Между церковью с ее поповским подворьем и самим селом Пронским — овраг. Он некрутой, широкий; на подъеме к церкви есть терраса, а на ней поставлены два двора. Большое место здесь заняло громоздкое строение под железом: полдома — трактир с лавкой,

полдома — жилье семьи трактирщика. Велик тут был и двор: скотины много держал хозяин, да еще и лошадыми барышничал.

Поодаль прилепилось вполгоры другое «жительство» — избенка Мишки-собашника. Так неуважительно пронские крестьяне звали бывшего когда-то псарем Михайлу Степаныча, высокого, сутулого бобыля с уса­тым, морщинистым лицом и несedeющей шапкой черных волос.

Крыльцо Мишкиной избы покосилось, соломенная крыша пестрела заплатами. Плоховат был и дворик: задняя, к оврагу стена осела и потянула за собой худую крышу; дворик словно на­супился.

А Михайла о том не тужил: все равно никакой скотины нет, а для собак приезжих москвичей и так ладно; сухие углы на дворе найдутся — летом для легавых, осенью и зимой для дорогих Михайлиному сердцу гонцов.

Михайла тем и жил, что охотнички дарили за приют, за самовары, за сопровождение на охоте.

А не в сезон как ты косушку добудешь? По миру, что ль, ходить? Куски выпрашивать? Ну уж нет! Вот и плел Михайла корзинки из ивы. Конечно, против охоты скука, да что ж ты поделаешь! Товар Михаил продавал, а племяннице Дарье Антоновне дарил. И с каким восторгом я клал грибы в «Михайлину» корзинку!

В молодости Михайла служил выжлятником у пронского помещика Тынова, когда тот держал стаю гончих. Давно это было!

Обеднел Тынов, продал имение, продал и стаю. Доезжачий Семен и наварщик Филька перешли куда-то в другую охоту. А Мишка остался в Пронском — зазноба удержала.

Как стал барин все кончать, выпросил Михаил у него на память смычок гончих да рог, которым доезжачий собирал собак в лесу, — рог не простой латунный, а сделанный из особого белого металла, рог такой, что гончатник за него душу отдаст!

Женился Михаил, зажил было, как степенный семьянин. Своей земли, конечно, ни сажени, так батрачил с женой у трактирщика. Жили, зарабатывали, кормились. А по осеням тешился Мишка-собашник

своими Заливаем и Занозой: лихо гнали они и зайца, и лисицу.

Прошла об охотнике слава. Стали наезжать к нему москвичи — кто с собаками, кто так. Охотились, слушали голосистых и мастероватых гончих Михаила, учились удалому псарскому порсканию, от которого лесное эхо и ахает, и хохочет, и стоном гудит, а душа веселеет. Привезут смычок, да у хозяина смычок — вот и стая. Красивая охота!

А еще настоящие любители, тонко понимающие охоту, ценили возможность потрубить в необыкновенный рог Михаила.

Не задалась у человека жизнь.

То ребята у Михаила умирали, а то и сама его Фрося родами померла. И без того худо, а тут, одно к одному, устарели и друг за другом угасли Заливай и Заноза.

Стал Михайла попивать да попивать, дальше — больше. Продал коровенку — пропил, одежду, что получше, и свою и Фросину, пропил... Опустился человек.

Одно сохранил Михаил из всего, что в жизни было дорого: изогнутый прямым коленом рог белого металла. И ни за какие деньги не продал бы его; ни трезвый, ни пьяный не расстался бы бывший псарь со своим серебристым сокровищем.

Бывают рога тяжелые: трубить в такие — изо всех сил надрывать. Бывают грубые — режут, что корова. Бывают рога и нетрудные, и на слух недурные, да их и за полверсты не слышно.

А этот рог — чудо! Лишь приложи к губам, чуть начни задувать в мундштук, а рог сам трубит — такой легкий! А сила! Куда бы ни увел Михайла своих гостей, где ни трубил бы гончим, а в Пронском — как с околицы подано! И красота звука удивительная: басовитое «до» гудело и внушительно, и в то же время неожиданно для низкого звучания светло, даже ярко. И раскатывался звук вдаль не на одну версту. И еще глубже проникало в душу «до» верхнее — такая в нем слышалась звенящая тревога, такое торжество! Затрубил Михайла, а у иных охотников слезы на глазах...

От зари и до зари, день и два шла охота, и на все это время Мишка-собашник становился Михаилом

Степановичем, Мишей, Мишенькой, славным доезжачим, хотя в «стае» у него работали три, много, четыре собаки, а случилось — и всего-то смычок. Что привезут! Довольные охотники уезжали в Москву с русаками, беляками, а то и с пышными лисьими шкурами в рюкзаках, да еще везли с собой сладкие воспоминания о красоте и радости охотничьих дней. А Мишка-собашиник на следующий день брел к шинкарке опохмелиться...

Ни на германской, ни на гражданской войнах Михаилу не пришлось воевать — лета его подошли к полсотне. Но жизнь для него, конечно, переменилась. Ему самому земли не требовалось — куда она бобылю? Зато с радостью глядел бывший барский слуга, как крестьяне делили помещичью землю, как прогнали кулака-трактирщика, у которого, бывало, смиренно запрашивал он взаймы пудешко муки, чтобы заплатить потом работой втрое.

Стал Михаил сторожем при волисполкоме и гордился:

— Советскую власть охраняю!

Москвичи-охотники, Михайловы приятели, кто на войне погиб, кто покалечен, кто, хоть и здоров, да гончих растерял — кончил. Скучал старый выжлятник, и думалось ему: «Неужто гончим конец?»

Но минули трудные времена. С каждым годом жизнь становилась полнее. И вот как-то поздней осенью появился к Михаилу Степановичу седой охотник со смычком светлочепрачных русских гончих.

— Михал Степаныч, не узнаешь?

— Рад охотничку, а чтой-то признать вас не могу.

— Да я же Нивин Андрей Глебович!

— Голубчик! Друг Андрюша! Да ты же какой молоденький был...

Обнялись охотники... Расспросы, рассказы, как жили, как переживали... И гость не мог не вспомнить:

— Скажи скорее, Михал Степаныч, рог у тебя цел?

И гордо отвечал хозяин:

— А куды ж он денется, покуда я живой?

С этого дня Михаил, по его выражению, «вышел на старый полозник».

И опять принялись ездить к нему москвичи — и

по черной тропе, и по белой. Только старых друзей раз-два и обчелся, а больше новые, молодые... И, как прежде, в Пронских лесах ухал хриплый бас псаря, заливались гончие, заставляя лесное эхо гудеть и стонать. Стукали выстрелы. И возникали могучие, грозные и победные звуки великолепного рога.

3

Сложилось так, что после моих наездов еще гимназистом я расстался с Пронским на несколько десятилетий. А с ними много воды утекло! Тридцать с лишним лет пролетело у меня на работах в лесных экспедициях. Шла, радовала и печалила так называемая личная жизнь. И многие годы главный отдых и великую радость давали мне гончие — вязкий смычок подлинных мастеров всегда своего завода, своей линии породы...

От экспедиций оторвал возраст, и от гончих я отказался — нашлись неодолимые причины.

Славную память оставили гончие, но одного всегда не хватало для полной красоты моей охоты — доброго рога. Что ни доставал — и по случаю, по знакомству, и в магазинах, сколько ни перебрал я рогов, и латунных, и никелированных, — не бывало у меня рога настоящего, трубить в который было бы приятно, а слушать дорого.

Лет через пятнадцать после Отечественной войны, как-то в конце октября, навесил я места своих начальных лесных радостей. И узнавал я, и не узнавал эти леса, когда-то дорогие моему детскому сердцу: где был старый бор — вырублено, где был молодняк — теперь поглядишь на вершины и шапку потеряешь...

Шел я со станции знакомой дорогой, а большие березы пошевеливали полуголыми сучьями, грустно шепча: что ж ты седой стал?

В селе, разумеется, тоже многое оказалось не так, как было. Появились новые дома, исчезли некоторые прежние; иные, перестроенные, превратились из крестьянских изб в дачи нового пронского поколения инженеров, врачей, артистов...

Но остались иные и как были. Дарья Антоновна

жила в той же древней избе. Она давно овдовела и стала по-настоящему пожилой, а верней сказать, очень старой. Дети ее обзавелись семьями, перебрались в Москву. И быть бы бабке вовсе одинокой, если б не внуки.

Особенно хвалила она двух мальчишек:

— Юра и Вова часто бывают. Они, Василий Иванович, как вы, когда мальчиком были: только бы в лес! А услышат, кто охоту гоняет, — опрометью!

— А к Михаилу-псарю охотники ездят?

— Что вы! Дяденька, почитай, уж лет десять в земельке. И избенку евовную на дрова распилили для клуба. Клуб — где трактир был. Избенка-то вся развалилась, когда помер, подпираться некому.

— А у кого теперь охотники останавливаются?

— Кто у Чижовых, кто у Мураша. А Нивин Андрей Глебыч — этот у меня все приставал, да чего-то бросил ездить.

Я не надеялся на полноценный ответ, но все же спросил:

— А не знаете ли, куда девался рог Михаила после его смерти? Пропал?

— Нет, не пропал. Эта труба потом у Андрей Глебыча служила. Вот как было. Дядя Миша стал болеть да слабеть, ино по целому дню не вставал. Ну а я — одна у него племянница оставалась. Ходила к нему кажинный день: прибрать, печку стопить, сварить чего. А он и сам понимал, к чему дело идет. Раз пришла вечером. А у него Андрей Глебыч, и собаки в избе. И сказал дядя Михаил: «Дашенька, прими ты доброго человека на ночку, на две. Все равно у тебя изба пустая». Что ж, говорю, пускай ночует. А дяденька и говорит: «Дружок ты мой, Андрюша! Поправки мне теперича не ждать. Концы, брат! Возьми ты мой рог заветный, как ты охотник верный, понимающий». А тот сказал: «Спасибо, Михал Степаныч, великое! Скажи ты мне цену». А дяденька осерчал: «Тебе как охотнику дают, человеку! А ты с деньгами!..» А вскоре похоронили дядю Мишу. А Андрей Глебыч ко мне долго ездил. Когда, бывало, и ружье, и трубу, и собак до другого раза оставлял — трудно, что ль, покормить? А теперь он сам пропал, и про трубу мне неизвестно.

Я жил у доброй бабушки несколько дней, бродил по милым местам. Поднимался на приречные обрывы над Москвой-рекой, опускался в заливные луга, а больше ходил по лесам. Прошли четверг, пятница. А в субботу послышался в Волчьем Клину посвист, покрикивание... Эх, не так порскал Мишка-собашник!

Загремели звуки дружного горячего гона, как в давние, далекие годы... Гончие гнали в тех самых лесах, где я впервые познал очарование ярого гона! И взволновал меня этот гон так, как взбудоражил когда-то душу двенадцатилетнего мальчика!.. А ведь сколько гончих своих и чужих я переслушал, какие только великолепные голоса не радовали меня! Но этот гон был, казалось, лучше всех!

Я сидел на пне, слушал, а сердце сжималось...

Гон оборвался... Прошло полчаса, собаки не выправили скол. Охотник затрубил... И всю мою приподнятость, витание в давнем былом как рукой сняло. Так нехорош был рев никудышного рога!

Дома меня встретили приехавшие из Москвы внуки хозяйки — румяные, бойкие мальчишки: Юра лет двенадцати и Вова года на два старше. Дарья Антоновна представила меня:

— Вот вам, ребята, еще охотник — дедушка Вася.

Хорошо воспитанные дети не стесняясь, но и без лишней развязности поздоровались. Юра спросил:

— Хорошо гоняли в Волчьем Клину? Дядя Вася, а сколько собак?

Видимо, из деликатности он назвал меня «дядей», а не «дедушкой».

— Гоняли, да скоро потеряли. А затрубил охотник — рог такой противный, что будь я гончей, ни за что не побежал бы на этот вой.

Мальчишки дружно фыркнули, представив меня в роли собаки.

— Эх, ребятки, жил здесь дед Миша. У него рог был — заслушаться! А потом подарил он эту чудесную вещь охотнику Нивину.

— Андрей Глебычу? — спросил Вова. — Мы его знаем. Подождите!

Мальчишки шмыгнули из избы. Слышно было, как они в сенях гремели приставной лестницей, а потом заходили по потолку.

Через две-три минуты они вбежали в избу:

— Дядя Вася! Вот рог Андрей Глебычев!

Я взял у Вовы предмет белого металла... Господи! Что же это? Длинная, прямая, слегка коническая часть — резонатор — была сплющена и вся в глубоких вмятинах. Как смертельная рана, зияла рваная дыра на внутренней стороне сгиба; короткая часть отогнулась...

— Дарья Антоновна! — простонал я. — Да как же это могло...

— Ничего я не знаю! — она сердилась. — Мне на сохрану не дали!

А Вова и Юра, перебивая друг друга, рассказали, что рог давно уж валялся на потолке среди всякого лома и мусора.

— Мы туда убираем удочки, лыжи тоже. Поглядели — труба. А она такая — мы и бросили.

Останки рога я все же взял в Москву. Сдал в «Ремонт духовых инструментов». Через две недели получил обратно. Труба приобрела округлое сечение, вмятины покрупнее были кое-как выправлены, а на разрыве краснела грубая медная крестовина. Я спросил:

— И всё вы так ремонтируете?

Ответили злобно:

— Благодарите и за то. Этот хлам и вовсе чинить не стоило.

— Ну что ж! — вздохнул я и пошел.

Но, когда я попал за город и попробовал трубить, порадовался: звук давался легко и напоминал бывшее. Только пел он теперь тусклее, слабее.

Я все же был счастлив. Пусть рог утратил былую певучесть и выразительность, но ведь он тот самый, что поразил меня, мальчика, и на всю жизнь привязал к гончим, к охоте!

Своих гончих у меня теперь уже не было, но я стал судьей по гончим. И на первых же полевых испытаниях я проверил свой рог в деле.

Легкость и мелодичность звука понравились всем, кто был на тех испытаниях. Все сказали: звук приятен на редкость. Но пришлось и разочароваться: стоило кому-то уйти в сторону хотя бы на полкилометра, и он уже не слышал моих сигналов.

Особенно заинтересовался рогом один из участни-

ков испытаний — Назаров, человек всей душой преданный гончей охоте, настоящий ценитель ее красоты — от экстерьера, мастерства и голосов собак до захватывающего проникновенного звучания рога. Разглядывал он и пробовал рог не только как охотник, но и как первоклассный мастер работ по металлу.

— Эх! — сказал он. — Как можно на такую чудную вещь наляпать такую уродину-заплатину? Да и держится-то она на честном слове!

И действительно, когда я побежал перехватывать гонного зайца, чтобы перевидеть его и работу гончей на следу, и рог слегка ударился о березу, лапы крестовины на заплате с одной стороны отстали и оттопырились. А попробовал я трубить — только шипение...

4

Куда бы ни поехал я на испытания гончих, хоть под Москву, хоть в другие области, всюду мой рог вызывает удивление, даже восхищение. Даже такие корифеи-судьи, как покойный В. С. Мамонтов, и те не раз, бывало, просили:

— Позвольте получить удовольствие! — и трубили, и еще трубили!.. А потом признавали, что такого рога в руках еще не держали.

Ожил мой рог!

А получилось это вот как: плохо припаянная заплатка подвела меня: сигналить стало нечем. Выручил Назаров:

— Попробуйте мой рог!

Я взял его латунный полумесяц с недоверием. Попробовал и удивился. Правда, ни по легкости, ни по выразительности назаровский рог не равнялся с рогом Мишки-собашника, но трубилось не тяжело, звук взлетал сильный и красивый.

— Хорош. Где вы достали такой? — спросил я.

— Да где такой возьмешь? Пришлось самому сделать.

Произошел разговор, высказал я просьбу, а через недельку Назаров сообщил мне:

— Готово!

И состоялась радостная для меня встреча.

— Давайте маленько обмоем, а потом поглядим, что у меня получилось, — сказал Николай Митрофанович.

И «обмывали» мы мое сокровище, возродившееся в золотых руках мастера: изорванное на сгибе и искореженное дурной заплатой колено он заменил латунной трубкой, которую сам вытянул, изогнул, подогнал и припаял к основной белой трубе — резонатору. Еще бы не обмыть!

Сидели мы за столом, вели самую гончую беседу о самых расчудесных своих бывших собаках. И чем больше обмывали, тем больше звезд с неба хватали наши бывшие гонцы. Наконец Митрофанович разрешил пробу.

...И затрубил я.
Мощен и печален
был затянувший «до» глубокий бас.
Я взял октавой выше.
И в металле
Победа, торжествуя, раздалась...

Из моих летописей

1. В девятьсот девятнадцатом

В начале мая девятнадцатого года меня выпустили из заразного барака. Тиф как тиф — сыпняком в то время никого нельзя было удивить. Остался в живых — чего же еще? Поэтому, вернувшись в институтское общежитие, я взялся за учебники еще ретивее, чем прежде. Большой разбег хотел я взять весной и летом девятнадцатого.

Ведь студентов тогда не ограничивали строгие рамки курсов, лишь бы подготовился, а то сдавай любой предмет (конечно, не забегая слишком уж вперед).

Пусть голодно до невозможности, пусть одежда вопит о замене, пусть сам подорван тифом — все равно учиться!

В суровое время, в октябре 1918 года, съехались в Петроградский лесной институт человек двадцать пять его бывших студентов, больше из демобилизованных после германской войны.

Лесной, как и все вузы, бездействовал.

Приверженцы учения с отчаянной настойчивостью штурмовали институтское начальство. А ректор и вообще весь совет института решительно не знали, как быть с этой горсткой неистовых.

И мало-то их было, и не верилось-то, что хватит у них сил и духу учиться в том голоде, холоде, во всей той разрухе, которые одолевали всю Россию и особенно зло терзали Петроград.

Сомнения устранились совершенно неожиданно и поразительно просто.

Казалось, какие там институты, какие студенты, когда на Советское государство навалилась гражданская война, интервенции, голод, тиф... Но Ленин с всеобъемлющей широтой умел глядеть поверх страшного сегодняшнего дня истерзанной России и знал и видел дали грядущего: новой, Советской России нужна своя интеллигенция, свои специалисты, свои инженеры. Значит, необходимо их готовить!

И Совет Народных Комиссаров обязал Наркомпрос организовать прием на первый курс во всех вузах на территории, где установилась Советская власть.

Ну а если быть первому курсу, так почему не воскреснуть и второму и третьему?

На первый курс пришло человек пятнадцать, а второй-третий составили те самые двадцать пять — вот и весь институт.

Пока события гражданской войны разворачивались где-то вдали, на Дону, на Кубани, нам еще можно было заниматься науками, но, когда в мае девятнадцатого над Питером нависли отряды Родзянко — Юденича, стало не до учебников. И пошли мы в военкомат. А там решили послать нас в формирующийся «речной минный дивизион».

Но не успел еще этот дивизион до конца родиться, как десятеро студентов-лесников (конечно, не из пер-

вокурсников), в том числе и я, по решению высших петроградских властей и в порядке мобилизации с 28 мая были переданы Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороге. Даешь ей лес, древесину! А главное всего, даешь дрова паровозам! Лишь они могли спасти жизнь дороги!.. Ведь уголь, нефть оставались пока у белых.

В правлении Николаевской дороги организовался Железнодорожный лесной комитет (Желеском); он и забрал себе студентов, назвав их «лесными техниками» и разбросав по лесам вдоль линий Петроград — Москва и Бологое — Полоцк.

Не бог весть что за специалисты достались Николаевке. И недоучки, и опыта никакого! Но на безрыбьи и рак рыба; старая-то интеллигенция в немалом числе растерялась на войне, а какая-то часть ее «впала в саботаж»...

Нам поручалось, разобравшись в межах лесных дач, спешно обыскивать лесные массивы внутри этих границ и срочно отводить самолучшие делянки для железнодорожных лесоразработок.

Вот так я попал в самую высокую часть Валдайской возвышенности, «Валдайских гор».

Деревни здесь, как во многих местностях русского севера, были невелики. Зато какие постройки красовались вдоль улиц! Избы из самой добротной сосны стояли просторные, высокие, как бы двухэтажные (низ — подызбица служила кладовой). И каждый основательный хозяин имел их две — зимнюю и летнюю (через сени). Крутые драночные кровли вместе с нарядными крыльцами и резными наличниками окон придавали жилью не только красоту, но и приветливость.

Такие рослые и прочные дома со столь обширными дворами могли возникать лишь в подлинно лесной стороне. И правда: леса здесь разливались, как море, а деревушки со своими клочками полей просто терялись среди безмерных боров, раменей и моховых болот.

И когда я понял всю необъятность здешних лесных раздолий и узнал, что они слишком хорошо знакомы с лесопромышленником и с его беспощадным топором, мне стало не по себе.

Как же тут разобраться? Как найти участки, нужные дороге и уцелевшие от этого топора? Как еще определить местонахождение разысканных и отведенных для дороги участков богатого леса, чтобы их нашли десятники и прорабы лесозаготовок?

Ведь никаких планов на лесную стихию не было.

Бологовский лесничий, в котором я рассчитывал найти спасителя, дал мне только список лесных «дач», расположенных по догадкам где-то в «сфере» моего отрезка железной дороги.

Этот старичок с серебряной головой и не менее белой бородкой грустно поведал мне:

— У меня леса бывшие частные. Казенных тут почти не было. После национализации ездили по местам комиссары, собирали у бывших владельцев планы. Много ли было собрано и куда это девалось, никто не знает. Ваши дачи, вернее всего, где-нибудь около деревень Черны Боры, Кузнецово, Горки, Сопки, Заболотье. Может быть, и еще где-то. Но вы повнимательней поищите возле этих деревень.

Искать, да еще повнимательней! Словно это рассыпались иголки по щелястому полу!.. Пропадешь!

Но выход нашелся.

В этой прекрасной стране берендеев хороши были сами берендеи — кряжистые, бородатые (даже деревня нашлась Долги Бороды). Небыстрые, но способные ко всякому делу, они много чего умели: пахать и жать, кожи мять и дома рубить, пчел водить и охотничать-рыбачить. А главное, были берендеи привычны к лесу. Иные деды всю жизнь охотничали или служили лесниками огромных лесных урочищ. Такие старики знали окрестные леса как свои пять пальцев, не хуже заправских леших. В них-то, в таких дедах, я и находил спасение при розыске лесных дач и меж.

Я не ошибусь, если скажу, что крестьяне-охотники (настоящие охотники, а не случайные «стрельцы») — люди незаурядные, умные, интересные. Меня накрепко убедили в этом те знакомства, что выручали на железкомовских изысканиях.

Эти деревенские старики показывали себя зоркими и толковыми знатоками житья-бытья и повадок лесных зверей и птиц, но главное, нередкие из них умели по своему мудро и широко взглянуть также и на жизнь

человеческую, подходя к общественным явлениям со своей собственной философией, очень своеобразной и очень разной.

С высокого холма далеко видны гряды, валы, бугры — то они темнеют хвойным лесом, то ярко зеленеют, желтеют и краснеют березняками и осинниками. Взойдешь на сосновую гряду, что залегла над болотом, изогнувшись огромным серпом, и видишь — вон ельник там, за открытой мшариной. Так и манит он чем-то затаенным, большой и захватывающе интересной звериной жизнью, а может быть, и скрытой своей памятью о древних селениях раскольников... Ведь следы исчезнувших деревень здесь не редки. По вековым ельникам сколько их, «грудниц», груд камней, собранных на старинных пашнях!¹

Пройдешь через еловую гряду — и опять перед тобой откроется седая гладь мохового болота. И вновь за болотом по холмам да кряжам волны лесов, дали подернуты сизою мглой и то там, то тут, куда ни взгляни, снова просвет, снова глухое, молчаливое болото. Вечность, полная невозмутимого покоя, лежит на нем, и корявые, всего-то в рост человека, сосенки с лишайниками на ветвях кажутся безмерно древними. Тяжела ходьба по болотным мхам, но зато как заманчиво ждет тебя там, впереди, суходольный лес, как зовет он, как обещает! Никогда ты не узнаешь, что именно он сулит, но, может быть, эта неизвестность и влечет?

...Приблизись к краю болотины, где соснячок чуть покрупнее и погуще, а багульника под ним побольше, — вдруг шумной россыпью поднимется выводок белых куропаток, засверкает снежными маховыми перьями и подкрыльями, которые у них и летом не рыжеют. Выстрелить — где уж! В руках папка с таксаторским журналом, а ружье — за плечами, но как обрадует эта вспышка жизни после надоевшей сфагновой пустыни!

А как ярко зелены мхи, сплошь затянувшие землю под старым ельником, где покой велик и особенно слышен при мягком шуме хвои под ветерком! А сос-

¹ В Валдайском кряже, как нигде, много камней от щебня до огромных валунов. (Прим. автора.)

ново-березовые окрайки болот с густым черничником и темно-зелеными подушками кукушкина льна! А края боровчин над суболотями с шуршащими под ногой кожистыми листочками брусничника и багряными гроздьями ягод!

Идешь и любишься лесом... Любишься иной раз и своим поводырем. Вот шагает рядом семидесятилетний Андрей Макричев, весь какой-то светлый то ли благодаря большой снежно-белой бороде, то ли по милому лирическому характеру.

Водил он меня по лесам вокруг деревни Горки, показывал межевые старинные ямы и рассказывал, как сын отобрал у него хозяйство, а в том числе и ружье: «Ты, мол, тятя, и петлями птюшку поймашь». Андрей Иванович не жаловался:

— Ау, брат! Молодому боле надо!

Он загибал в лесу пружки с петлями и ловил теперь, мошников. Любил он вольную птицу.

— Гляди, какая краса порхнула! — говорил он про взлетевшего глухаря.

К нашей с ним желескомовской работе он относился проникновенно:

— Это, друг, не шутка — Николаевская чугушка! Весь подвоз в Питер по ней, вся помощь Советской власти. А что за власть? А вот какая: она царскую войну прикончила, мужика землей наградила. Что наш лес жалеть? Пушай для такого дела рубят, не беда! Новый нарастет. А мужик себе на избенку всегда сыщет!

В моих геодезических действиях дед Андрей видел участие сверхъестественной силы. Началось вот с чего. При отводе под лесосеку многоугольного участка я задал последний визир по вычисленному румбу, и, когда прорубленная линия промахнулась в первый столб всего на метр, дед Андрей Иванович пришел в восторг:

— Ну, брат Василий, вижу: ты что-то знаешь!

И невозможно было убедить деда, что никакого колдовства нет. А если я после такого «чуда» мазал по взлетевшему рябчику (ружье было при мне всегда), дед расстраивался:

— А еще знаешь! — Очевидно, колдуну не полагается плохо стрелять. Плохая стрельба роняла чело-

века, но все равно дед Макричев оставался при своем почтении к моему занятию:

— Молодец! Вишь, как для дороги радеешь!

В районе деревни Едно меня водил по межам Федя Бывчев — лысый, седой как лушь, но смешливый, легкомысленный и даже чуть озорной, несмотря на свои «под семьдесят».

С первых же слов он выболтал, что вдов и завел «дружницу» лет сорока пяти.

— Баб много. Чего на их смотреть? Без дружницы скушно, браток!

Лес Федя знал пятое через десятое, а ходок был крепкий.

— Мы с тобой, Васенька, милос, во мхах (то есть в моховых болотах) ноги из ихнего места повыдергаем! — говорил он, заливаясь хихиканьем.

С Бывчевым повидал я немало мороки: ведет, ведет Федя по просекам, болтает, хвастает:

— Все укажу! Хоть на тот свет провожу! Ты только свою стрелябю наставляй! — И вдруг весело заявит: — А дале, милос, не ведаю, куды межа пошла, куды ее черти загибали. Леший ее знает!

Хорошо бы у лешего спросить, да он никак не попадался на глаза. И я, случалось, сам разыскивал приметы старинных границ: затески на деревьях; уцелевшие пни старого просека, стоящие подозрительно точно в одну линию; остатки сгнивших столбов; еле заметные, почти заплывшие межевые ямы. Иногда приходилось «по наитию духа свята» угадывать межу; случалось и вовсе запутаться.

Тогда устраивали привал, и развеселый Федя без конца сыпал прибаутки, побаски и сказки — «Как поп телился», «Как Васька-вор святым бывал» и без счета всякой всячины.

Болтовня болтовней, а дело делом. Шли, шли, большую часть межи прошли — не бросать же!

— Ну, Федор Михеич, говори, признавайся: где-нибудь дальше найдешь просек или нет?

— Погоди, милос! Сичас поищу, погадаю!

И дед бойко шел куда-то, скрываясь в лесной чаще. Проходил час, а то и больше...

— Аууу!.. — слышалось вдали. — Ни-как на-шел чивой-та!

И я прокладывал примерную границу, напрямик, на голос. Шагал, считал шаги и, взяв по компасу румб, старался не сбиться с направления, потому что дед вдруг смолкал, как воды в рот набрал, — это, оказывалось, он напал на «гораз сладкую малину».

Окружная межа в конце концов увязывалась (конечно, «гораз» примерно, но этого было достаточно для ориентировки). Отведенные лесосеки потом привязывались к «явным» частям границы дачи, в крайнем случае к перекресткам дорог, а то и к старым вырубам.

Всех моих водителей не перечтешь, но нужно поведать еще об одном, со взглядами, очень характерными для тогдашнего крестьянина.

Иван Ефимович Гушин нанялся водить меня по лесам в округе деревни Заболотье. Он был едва ли не самым молодым из моих валдайских дедов — лет под шестьдесят. По тогдашней социальной терминологии, он мог считаться «крепким середняком», а зажиточность приобрел охотой. Охотник он был знаменитый. В дореволюционные годы его летняя охота была настоящим промыслом: со своим сеттерком Налькой за день он добывал столько боровой дичи, сколько мог донести. В ночь хозяйка везла птицу на станцию к скупщику, а назавтра петербургские гурманы в ресторанах лакомились гушинской добычей.

Крестьянскую работу Гушин не уважал и сумел поставить себя в семье так, чтобы самому не работать.

— Ваня, — мягко, но безапелляционно наказывал он старшему сыну, — отбей-ка ты косы и себе, и Сашке, и Матрене (так звали сноху деда), да с богом, робятушки, выкосите ноне Колязинский ложок.

И, подсвистнув Нальку и закинув за спину торбу для «птюшек», глава семьи вешал на плечо централку и отбывал на «охотишку» до ночи, а случалось, и с ночью: не в одной из окрестных деревень поджидали его «дружницы» (больше из вдов). Видно, умел человек найти подход к женскому полу и, вероятно, брал тем, что с берендеевой бородой в проседи уживался в нем истый «бонвизан» — любитель и ценитель удовольствий. Успеху у женщин не мешали ни толстый нос, ни эта самая еще черная борода, ни походка, тяжкая от ревматизма. Знал Иван Ефимович вкус в бабах,

знал и в «зеленом» вине. Недаром жила на свете легенда, что Гущин за день высидел у шинкарки водки целую четверть (ведра, конечно!), а закуски потребил при том всего три клюквинки.

Много лет он охотничал и знал леса так, что в черную полночь прошел бы прямо на любое болото, любую боровчину.

В списке лесных дач значились около Заболотья «дача бывшая Крживицкой» и «дача бывшая Хрисанфова».

Иван Ефимович отлично знал первую; он тут был лесником у барыни. А что за Хрисанфов — понятия не имел.

Помещица Крживицкая, крошечная, худенькая старушка, еще жила в своем бывшем доме недалеко от Заболотья. Мы с Гущиным зашли к ней: не сохранилось ли у нее чего-нибудь из планов ее бывших владений? Но оказалось, что все она отдала «такому, знаете ли, сердитому комиссару». И пошли мы от Крживицкой ни с чем.

— А не припрятала она планы? Может быть, рассчитывает, что Деникин да Юденич вернут ей земли?

Но Иван Ефимович решительно возразил:

— Ничего она не думает. Где уж ей! Мы ее милостивкой кормим. Она у нас сроду простая.

И в этом определении я услышал вместе со снисходительным одобрением и оттенок превосходства: дескать, добрая, да разиня.

Пришлось мне делать план самому. И снимал я леса «б. Крживицкой», конечно, все тем же упрощенным способом: промеры шагами, а румбы межевых линий буссолью через точку. По границам вел меня, конечно, Иван Ефимович. Наложил я межу-полигон на бумагу, кое-как увязал концы с концами. Контур есть, а внутри что?

— Ну, Иван Ефимович, пойдем у Крживицкой дачи нутро глядеть.

— Пойдем. А к чему оно тебе? Зачем ноги бить, Василь Иваныч?

— Как к чему? А где же я Желескому делянки отведу?

— Пошли! — буркнул мой поводырь, и мы с утра пошагали в лес.

— Василь Иваныч! Родный! Давай по речке Мостовой пройдем. На ей уток сила!

Я подумал: грех ли урвать часок-другой для охоты?

И верно, уток оказалось много. Гушин при взлете словно с лентой поднимал приклад к плечу, в тот же миг гремел выстрел, и утка падала камнем... Шли час за часом... Я извел с десяток патронов, взял пару крикв. Наконец опомнился: а дело-то?

— Что ты, родный? Какого еще тебе дела? Нешто охота не дело? Глянь-кась, вон и солнышко книзу покатилося...

На следующий день я заторопил в дачу.

— Да мы с тобой, родный, по Мостовой прошли, все скрозь видели. Чего нам туда опять идти?

— Ничего мы не видели. Я должен составить таксационное описание леса.

Кряхтя, кашляя, плюясь, поплелся старик и стал водить меня тропками да дорожками. А лес вокруг доброго слова не стоил — мшарины, ольшняки, редкий ельничек...

— Неважный лесок, Иван Ефимович!

— Ау, родный! Какой у нас лешишко — горе!

Прикидывая направление по буссоли и расстояния по счету шагов, я заметил: кружим на месте.

— Иван Ефимович! Зачем мы толчемся в одном углу? Двинем прямо!

Дед смекнул: инженера с инструментом не запутаешь.

— Ох! — застонал он. — Поясницу разломило! Ох, не ведаю, как и домой дотянуть!..

Следующий день пришелся на воскресенье. Я сказал деду, что пойду на охоту, и отправился в дачу один.

— Сходи, родный, позабавься уточками. А мне пчелками заняться.

А ходить по лесам я уже научился, осмотрев немало дач на валдайских холмах, и не только уже не блуждал, но, кроме того, узнал, как находить в даче главное. И открыл я в то воскресенье березняки и боры на диво, а ими «Крашевичихина» дача была не бедна. И понял, с какой расчетливой ловкостью хитрый дед отводил меня от «лесных кладов». Когда, вернувшись домой (то есть к Гушину), я рассказал хо-

зяину о своих открытиях, Иван Ефимович лишь рукой махнул и с досады полез отлеживаться на печь.

Национализацию лесов он понимал так: все теперь наше? Все не все, а уж Крашевичихина-то Матюшенкова Ломь — это уж нам, Заболотью, в нераздельное владение. Неужто же, мол, нам самолучшую сосну в Матюшенковой Ломи упустить? Мало ли что дороге нужны шпалы! А нам нешто не надобно строиться? Ломь у нас здесь, а дорога вон какая длинная! Найдет она себе еще где-нибудь!

Нанял я рабочих и деянки Желескому отвел на славу.

Но где же дача Хрисанфова?

— Да леший с ней! — сказал Ефимыч, помирившийся со мной ради хорошей поденной платы, «отваренной» к тому же в конторе прораба такими богатыми дарами, как махорка, спички, мыло и даже по восемь вершков ситцу или бязи за каждый проработанный день. — Давай за птюшками поблизу сходим.

«Эх! — подумал я. — Уж один-то денек подождет работа!»

И мы направились в Заболотские поля. А полями на нашем севере зовутся не только пахотные земли (в Заболотье — кусками от одной до нескольких десятков десятин), но и чередующийся с ними никудышный лесишко. В нем «всякого жита по лопате». Так было и в полях Заболотья. Ели, осины, березы — и покрупнее и помельче — где куртинами, где рединами; беспорядочно захламленные вырубки, а то и ложки, годные под сенокос, заросли ивняка, можжевельник, ольшняка, моховые болотины с корявым сосняком — все тут было перемешано.

Для лесозаготовителя это был, конечно, не лес, а пустырь, но «птюшки», в основном тетерева, имели свой взгляд. Им эти безалаберные молодняки больно нравились, а потому и держалось их тут множество. Еще бы! Сколько ягод вызревало в этих местах! Земляника, черника, гоноболь, малина, брусника и даже кое-где по болотинам клюква!

С Иваном Ефимовичем, разумеется, побежала и Налька, которую хозяин величал сеттером; она была рыжая и на ирландца смахивала. Хотя шел ей двенадцатый год, Налька была еще очень бодр.

Прошли мы пашню, по местным понятиям, большую — на полверсты! — с убранный рожью, пересекли мишарину с хилым соснячком, перелезли через осек, миновали неширокую полосу ольшняка... и опять осек! Ставить изгороди — работа не из легких, зря городить никто не станет. В чем же тут дело?

— Что ж, Иван Ефимыч, у вас изгородь на изгороди?

— Дак огорожено-то не наше. Это Крысанá пустошь.

— А что за Крысан?

— Да наш мужик, заболотский. Лесом, кожами торговал, ну и накупил себе землишки.

— И много?

— Да десятин сот пять будет.

— А перелезем через осек, там чья земля пойдет?

— Опять же наша заболотская, общественная.

Налька нашла выводок тетеревов в просторной болотине с невысоким редким соснячком, с багульником и гонобольником, голубевшим спелыми ягодами. Собака не рылась в набродах. Она потянула верхом, подвела и твердо стала, замерла на стойке.

Гущин приказал:

— Аван!¹

Когда-то он поработал у помещика в егерях и знал французские команды, которые были приняты на охоте с легавой.

Налька деловито переступила несколько шагов — поднялась матка и молодой. Собака при взлете легла.

Я не успел выстрелить, а мой поводырь не спеша поднял ружье. Лишь приклад коснулся его плеча, грянул выстрел, и пегий петушок упал.

— Василь Иваныч, ты не мешкай, а я погожу стрелять. Аван!

Налька снова осторожно тронулась, и чуть не изпод самой ее морды порхнула пара молодых и полстела меж негустых березок и сосенок. Бац! Бац! — мои выстрелы не причинили тетеревам вреда; птицы замелькали дальше. Ударил выстрел Гущина, и молодая тетерка сверкнула книзу белым подкрыльем.

— Больше нету, — заявил старик. — А матку с эн-

¹ *Avant!* — вперед! (франц.)

тим надо на племя оставить. Налька, апорт! — приказал он, и собака подала добычу.

— Давай, Василь Иванович, пройдем на Крысаново болото. Там белых куропатченков выводок...

Вышли на торную дорогу и, немного пройдя по ней, опять увидели изгородь, на сей раз с воротами. Я уже не спрашивал про осек, знал: Крысан.

Шли дорогой по крысановому лесу с полверсты и на виду у следующей изгороди свернули влево и сквозь заросли ольхи пробрались на мшарину с мелкими старенькими соснушками, кочками с брусникой и кое-где с незрелой клюквой. Налька подвела к куропаткам и стала так же чисто.

— Аван! — собака подалась вперед, и выводок поднялся весь сразу, веером. Я сбил дуплетом молодую, Гушин, выстрелив тоже из обоих стволов, взял пару. Переместившихся Налька нашла, отлично работая верхом. Мы убили еще по одной.

— Чего же, друг? Семь птюшек у нас есть. Куды их еще?

Я не без труда согласился кончить охоту.

— Иван Ефимыч, мы на крысановой земле?

— На крысановой.

— А где же она кончается? Куда ни сунься, все Крысан!

— А она, евовная землишка, лентой, все вдоль нашей, все вдоль нашей, так тебе и пойдет загигать да окружать нашу.

Я все больше уверялся: вот она дача бывшая Хрисанфова! И сказал об этой догадке Гушину.

— А как думаешь, Ефимыч, у вашего Крысана тоже нет плана?

— Ну нет, брат! Этот не проворонит. Крысан комиссару наплакал: «Мы люди темные, какие у нас планы? Мы свое и так знаем». А тот спроста и поверил. Точно знаю: есть у Крысана планы.

Вечером зашли к Крысану-Хрисанфову. Согласно деревенским традициям, дед Гушин поговорил сперва о постороннем: как у Ефрема гад свинью кусил — сдохла, да где Прошке Крысаненку в раздел усадьбу отведут...

Наконец добрался до меня, до Желескома...

Пока шла эта беседа, я разглядел Крысана —

невысокого пожилого мужика лет около пятидесяти. Изжелта-русая шапка волос была острижена «под горшок»; борода разрослась во все стороны, захватив немалую площадь лица. Руки были корявые, мозолистые, как у всякого крестьянина. Ситцевая рубашка, синяя в белую горошинку, и черная жилетка напоминали те плакаты, на которых изображался кулак. Штаны, когда-то бывшие черными, заплатанные на коленках, были заправлены в грязные стоптанные сапоги.

Так как жилетку в жизни, а не на плакатах носили все мужики вовсе не кулацкого пошиба, то приходилось признать: Крысан от них в общем не отличался. Единственно — глаза были не те. Они прятались под нависшими, раз навсегда нахмуренными бровями грязно-желтого цвета и вдобавок всегда были сощурены. Я не сумел разглядеть эти глаза и не сказал бы, злые ли они, жадные ли или еще какие-нибудь «отрицательные». Но хмурая сторожкая отгороженность от всего внешнего и, значит, чужого казалась отталкивающей. Тем Крысан и отличался от рядового мужика.

— Так чего ему, — Крысан кивнул Гушину в мою сторону, — чего от меня-то нужно?

— Дак, Иван Васильев, ему все про леса узнать. Твоя земля у него в бумаге списана. Дай ты нам планá на погляденье.

— Что врешь, Иван? Все планы Советская власть у хозяев обрала. Думает: бумажку взяла и меня моего кровного, законного лишила.

— Не грехи, кум. При моих глазах ты комиссара отшил.

— А ты на кой хрен выбалтываешь?

Вступил в разговор я:

— Вам, Иван Васильевич, легче не станет, если я оправдаюсь вашим упорством. План не дадите, я сам сниму план вашего леса на месте. А государственное дело задержится.

Кулак еще угрюмее сощурился:

— Вон ты куды гнешь! Не стражай — не испугаешь!

Но все же он явно заколебался, а тут насел и Иван Ефимович:

— Кум, да он при тебе поглядит. А потом мы никому ни-ни!

Крысан вышел и через несколько минут вернулся с планом.

И я увидел такое, чего никогда бы не придумал сам.

«Лесная дача крестьянина Новгородской губернии Валдайского уезда И. В. Хрисанфова», как гласила надпись, петлей облегла земли деревни Заболотье. Вся внутренняя граница дачи имела одно смежество — земли деревни Заболотье, то есть, крысановская лента охватывала их полностью, безвыходно. Голова этой узкой земельной змеи втыкалась в озеро, а хвост — в леса Крживицкой. При этом большая часть внешней крысановской межи тоже прилежала к Заболотскому землепользованию. Обвив деревню с ближними полями, змея вдобавок отрезала их от значительной доли деревенской же земли. Чересполосица создавалась нелепая и вопиющая.

Площадь дачи на плане определялась в 511 десятин (около 560 гектаров), то есть ровно столько, сколько их значилось в даче б. Хрисанфова по списку.

Глядя на душившую Заболотье петлю, я не стерпел:

— Ну и ну! Вот так тиски!

Гущин тяжело вздохнул:

— И не говори! Все наши выгона оставались позади крысановой. Куды, бывало, ни гнать — все ему кланяться.

— А я и не запрещал, — усмехнулся кулак.

— Небось, не даром разрешали? — поинтересовался я.

— Да, почитай, ни за што. Придут: «Иван Васильев! Как бы нам стадо через твой Щукин мох гонять?» А я нешто не уважу? Гоняйте, родимые. Мне для своих кровной землицы не жалко. Ну опосля скосите мой Вихров Лог да сенишко ко мне в амбар свежете. Придут: «Иван Васильев! Как бы нам дровишки через твою пустошку вытаскать? В объезд дальше вдвое!» А я нешто против? Храни господь! Возите, родные, Христос с вами. Ну и мне хоть по два возика каждый киньте...

Не плакат стоял передо мной. Передо мной раз-

глагольствовал живой, самый доподлинный кулак-миroeд, глот. Он и не думал, не допускал мысли, что пришел конец его владычеству!

— Здо́рово, Иван Васильевич, вы деревню заарканили!

— Какой там заарканил! — злобно огрызнулся Крысан. — Кровьёю, по́том, по кусочкам собирал. — И он стал тыкать грязным, заскорузлым пальцем в разные части плана: — Эту вот Машкину пустошь барыня Крашевицкая уступила; эту переузинку у барины Кошкарёва вымотал — землишка лишь плюнуть, а мне к месту. А Шукину болотину свои мужички из мирской мне продали. Ну, известно, пришлось поерзать: три ведра старикам поставил... За каждый клочок деньги плачены, за каждую лепестину!

Гущин, скривясь, чесал затылок:

— Видал, Василь Иванович, дураков? Сами головы в хомут сунули!

Я скопировал план на восковку при самом Крысане. А потом два дня мы с Гущиным ходили по даче. И ни единой десятины сто́ящего леса не нашли. Качество земли, видно, не волновало владельца: главное — деревню взять за горло, главное, как сказал Крысан, — «к месту». Добра не нашли, зато поохотились с Ефимычем.

II. Приходит девятьсот двадцатый

Кочуя по Горкам, Заболотьям да Байневкам, я волей-неволей словно затеривался в невозмутимо бесстрастных лесах. И далекой-далекой представлялась клочкотавшая в России борьба народа за новую жизнь, и почти не ощущалась вся великая тяжесть этой борьбы, острота угрозы, нависшей над молодым Советским государством.

Пожалуй, играла тут какую-то роль и сытость, как с неба свалившаяся после долгих месяцев голодовки в институте, — сытость, созданная отчасти желескомовскими пайками вплоть до верблюжатины, тюленьего жира и даже белой муки (хотя и скудными пор-

циями) и закрепленная деревенскими харчами — щами с бараниной, молоком, немерянными и невешаными краяхами ржаного хлеба...

При наездах в Бологое с отчетами к заведующему таксационной партией не раз видел я проводы рабочих отрядов на фронт. Красные полотнища лозунгов, духовые оркестры, пение «Интернационала», толпы людей, остро переживающих драматизм момента, — все поражало, раскрывало предельную напряженность действительности.

Но опять погружался и в море лесов, и меркли эти впечатления. Недели и недели жил я в лесном спокойствии, редко видя газеты и лишь догадываясь о событиях по тем слухам-отзвукам происходящего, которые попадали в деревенскую... глушь и далеко не всегда соответствовали истине.

Ходил пешком и в телеге ездил по дорогам, размытым октябрьскими непогодами, бродил по болотам, досыта напоенным дождями, по лесам, без конца по лесам, где с каждого дерева только и жди дýша. Но в морозящей стуже, точно так же как, бывало, и в летние сияющие дни, настойчиво разбирался я в межах и «нутре» лесных дач, описывал лес, набирал в ближних деревнях рабочих и отводил лесосеки, лесосеки, лесосеки — будущие дрова, шпалы, бревна. Не без гордости потом поглядывал я на штабеля готовой древесины у станций железных дорог или на промежуточных линейных складах.

Тяжело работалось осенью, да и день короток: встать надо до зари, а в деревню вернуться впотьмах... Но и осень давала свои маленькие радости...

Тихо в лесу. Ночью был дождь, но к утру с деревьев вода уже стекла, капель совсем редкая... Листа на березах и осинах осталось совсем мало — кроны сквозные.

Визир задан, рабочие рубят... А на подходе к выбранной лесосеке я слышал, как свистел рябец... Пока рубщики пробьют визир хоть на полкилометра, пока еще не нужно начинать промер линии, есть время поманить...

Возвращаюсь по тропке, иду по влажной траве, по мокрой, прилегшей к земле листве — осторожно, бесшумно... Выбираю пенек, укрытый еловым подростом.

Сажусь, вынимаю костяной пищик, драгоценный подарок деда Андрея Макричева из Горок.

Но необходимо выждать: а вдруг рябчик услышал мои шаги или глазом заметил?.. Затаиться, исчезнуть для него, чтобы забыл про меня... Сажу, жду... По небу неторопливо плывут облака, ровным серым слоем движутся без конца... Лес не шелохнет. Только нет-нет да прошуршит к земле желтый лист, пропорхает, шепнет словечко ветке, за которую задел, и уляжется на землю...

— Ти-и, ти-и, ти-титити! — пищик вывел трельку тонко, чисто. Теперь помолчать, подождать... Через минуту поодадь:

«Ти-и, ти-и, ти-тити-и-и...»

Выжидаю минуты две:

— Ти-и, ти-и, ти-титити!

«Пррр...п!» — перелетел поближе и «п!» — сел в елку.

Терпение! Чем скупее я стану подавать голос, тем вернее он прилетит. А пищик у меня чудесный — до того чисто подает он свист, что каждый раз удивляюсь: какой точный слух у деда Андрея!.. Ну пора!

— Ти-и, ти-и, ти-титити!..

«Прррр...п!» — вон он, рябчик, сел на почти голую осину — весь на виду... После выстрела пороховой дым не скоро расходитя в сыром осеннем воздухе...

Вдали крик:

— Огогого!.. А... и...и — И...а...о!

Прислушался я... Должно быть, Василий Иванович! Это меня...

— Эй-эй! — отозвался я.

— О-о-о-о-о! А...и...и!.. И...а...о!

— Эй-эй! — опять я откликнулся... И вот послышались шаги, треск сучьев под ногами. А вот и сам десятник Равкин:

— Хорошо, хоть выстрел! А то и не найти! Весь лес избегал!

— А что случилось?

— Телеграмма. Вас в Желеском, в Петроград требуют срочно.

Всю ночь брел поезд, одолевая неполных три сотни верст. Ехал я и всю долгую октябрьскую ночь не спал — и лечь-то негде, да и не до сна было. На стан-

ции вычитал в газете, приклеенной на стенку, что 11 октября Юденич взял Ямбург, а на деникинском фронте кавалерия генералов Мамонтова и Шкуро 13 октября захватила Орел!

Ничего этого я не знал в своих лесах, не знал да и подумать не мог такое! И Петрограду и Москве угрожают белые!

«Нет! Нет! — убеждал я себя. — Этого наши не допустят!» Но все равно не мог успокоиться: страшно!

Ясно, зачем вызывают в город: сдать дела — и в армию! Там сейчас общая мобилизация... Сразу же надо являться в военкомат... Ехал я, подавленный тяжкими мыслями: откуда же у белых такая сила? А разговоры-то в крошечной тьме вагона! «...Неужто наши Юденича не отгонят?» — «А шутя и не отгонят! Народ в Питере отошел — как тут драться?» — «Пришлет Ленин войска с Москвы! Не даст Питеру пропадать...» — «А ну как не успеет!...»

Рассвело... А поезд шел потихоньку, плелся, как мог, на сырых дровах. Не изменил он своего аллюра и когда возле Колпина стала слышна оружейная стрельба и можно было любоваться, как слева по ходу поезда пыхают дымки рвущихся шрапнелей... Белые стремились пересечь Николаевскую дорогу, отрезать Петроград от Юга...

Поезд шел без задержки. Ну что из того, что рвутся шрапнели? Они же в стороне, до них, пожалуй, больше версты...

В Петрограде пришлось идти пешком — трамваи не ходили.

Город готовился к уличным боям. Во многих местах люди разбирали мостовую, рыли окопы, баррикадировали ворота, двери домов камнями, ящиками, бревнами. Угрюмые дома щелками окон из-за мешков с землей слепо глядели на развороченные улицы. Торопливо шагали вооруженные отряды то моряков, то рабочих...

Студенты-желескомовцы перед явкой в Желеском собрались в институтском общежитии. Взмолнованные, взвинченные, ждали они своего «комиссара» по военным делам Охотина, который отправился в военкомат для выяснения... Долго ждали.

Наконец мой ровесник и однокурсник, стройный,

несколько сухощавый блондин Охотин, вернулся. Уселся на койку. Доложил:

— Еле добился к военкому — народищу страсть! Спросил военкома, когда, куда... А он как заорет: «Лесники? Так вы же мобилизованы давно! В лесу ваш фронт! Какого черта вы тут? Саботаж?» Я ему: мы вызваны... А он взревел: «Куда вызваны, туда и являйтесь!»

Пошли в Желеском. И была там крепкая накачка: «Медленно работаете! Даете лесосеки! Быстрее! Больше! СТО (Совет Труда и Оборона) постановил: брать лесосеку сразу вперед за три года!»

За этим и вызывали: в каждой даче отводить три расчетные годовые лесосеки. Накрутили хвосты и — марш в лес! Разъехались мы по своим участкам, стали нарезать в лесах делянки размашистей, щедрей. Работы прибавилось не так уж много: что маленькую лесосеку отвести, что крупную — почти одно и то же.

А на фронтах пришли победы: уже 20 октября белых выбили из Орла и погнали дальше и дальше от Москвы. С 21 красные перешли в наступление под Петроградом, 24 заняли Павловск, а там и пошло — Красное Село, Гатчина, Луга, Мшинская... 14 ноября красные части штурмом овладели Ямбургом — остатки армии Юденича были выброшены в Эстонию. В тот же день 14 ноября на далеком сибирском фронте бойцы 5-й армии под командованием Тухачевского на плечах разбитых колчаковских полков вошли в Омск, который Колчак сделал своей столицей...

...Минула осень, забелела земля. Зима подсыпала и подсыпала снегу. Все трудней приходилось нам на отводах. Тяжела ходьба по заглубевшему снегу, скверно, когда на каждом шагу тебя обсыпает им с ветвей... А день короткий! Не мешкай, ходи веселей!

В начале зимы мне повезло: перевели меня на Бологое — Полоцкую линию, в бывшие удельные леса. Тут существовала квартальная сеть и старенькие планы, а главное, служили прежние лесники, которым отвод лесосек — родное дело!

Любо-дорого смотреть, как вешильщик гонит линию визира чуть не бегом, прицеливаясь острым глазом по вершинкам аккуратных, стройных вешек, и словно дирижирует, показывая рукой рубщикам, что

делать, а те бьют визир быстро, точно, не срубая ни единого лишнего деревца. Мастера!

Январь двадцатого года добавил снегу щедрой рукой. Пришлось стать на лыжи.

После рабочего дня под разгулявшейся вьюгой я вернулся в деревню с головы до ног завейный и залепленный снегом — не то дед-мороз, не то сотворенная школьниками снеговая баба. Уже стемнело, но мой хозяин был зорек; увидел меня в окошко и выскочил на крыльцо с аккуратным веничком в руках:

— Позвольте-с, Василь Иванович, обмету-с!

Ловко и быстро Яков Ильич смел снег с плеч, со спины, с валенок деда-мороза. Видно, специалист на такие дела: не кто-нибудь, а бывший графский камердинер, как он не без гордости сообщил мне. Небось, перед камердинерством еще и в лакеях барской одежды начистился.

— Ну вот-с! Теперь в дом пожалуйста-с!

Вошли в избу. Я повесил у двери ватник, прошел в каморку, положил буссоль на столик, мерную ленту — под стол, таксаторскую сумку повесил на гвоздь, сменил валенки на хозяйские опорки.

Из-за занавески послышалось:

— Василий Иванович, кушать прикажете подавать?

— Ничего бы, правда, и поесть, — ответил я. Меня смущало холуйство хозяина, смущало особенно потому, что оно было не по нужде, а из «любви к искусству».

— Пожалуйста-с за стол!

Сел я на табуретку у обеденного стола в переднем углу избы. На столе — белоснежная, накрахмаленная скатерть, тарелки с графскими гербами, серебряный столовый прибор.

Придав строгое выражение тщательно выбритому лицу с прямоугольными бакенбардами, Яков Ильич, облаченный в пожилую фрак (но все-таки фрак!), торжественно принес фарфоровую миску (тоже, конечно, с графским гербом), а в миске... картошка в мундире. И это все.

Камердинер принялся «служить у стола», то есть стал в сторонке, готовый снять крышку с миски, принести лишнюю тарелку и так далее. Свою жену он не

допускал прислуживать мне, очевидно не желая упустить возможность поиграть в свою прежнюю должность.

На особой тарелочке он подал два тоненьких ломтика хлеба.

«Эх! — подумал я. — Надо бы побольше от пайка себе оставить! Понадеялся на деревню! Эх!» (Большую часть полученного у прораба я отвез в Москву, больному отцу, благо годовой билет позволял подобные поездки).

Хозяин стоял «готовый к услугам» и явно желал побеседовать.

— Не слышно ли чего нового, Яков Ильич?

— Как же-с! Есть-с! Мне мой братец, председатель сельского совета, показывал газету-с... — Яков Ильич вздохнул. — Так что-с адмирал Колчак арестованы-с, заключены-с в тюрьму-с...

Я так и привскочил. Я знал, что Красная Армия гонит и громит колчаковцев, что они докатились уже до Иркутска, но не ждал я столь скорого конца «верховного правителя России».

— Колчак взят? Да не может быть!

— Так точно-с, они самые взяты-с... — говорить об адмирале в единственном числе камердинер не мог: адмирал был «они-с».

— Здорово! Вот так здорово!

Я не мог усидеть на месте, выскочил из-за стола, заходил по избе. Да ведь, значит, гражданской войне скоро конец! Как хорошо будет жить всем!

И конечно, так сказать, вторым планом подумалось: в институт вернемся!

А камердинер смущенно примолк. Он, пожалуй, не ждал, что «образованный молодой человек», как он не раз называл меня при людях, может радоваться бесславному концу Колчака.

Я заметил его уныние.

— А вы, Яков Ильич, разве не рады?

Тот замаялся.

— Как же-с... Конечно-с...

И понял я: этому Якову Ильичу Советскую власть засадить бы в тюрьму, а не Колчака! Одно слово — камердинер.

На следующий день я перебрался на квартиру к

камердинеровой невестке, сорокалетней вдове-солдатке (муж с германской не пришел).

Советскую власть для нее олицетворял младший деверь, младший брат ее мужа — председатель сельского Совета, а старшего деверя она недолюбливала.

— Яков не сам себе человек, — сказала она мне: — он — графский.

Меня угощала она так:

— Хлябай, хлябай, Василей!

Зато какие щи с бараниной были на столе и хлеба гора! Пусть и миска глиняная, а ложка деревянная!

Леса, снега, лыжи, лесосеки, лесосеки, лесосеки... Отвод за три года вперед, отвод сплошных полос по километру с обеих сторон железнодорожной линии для сокращения вывозки — отводы, отводы...

Снег становился все глубже, рыхлее. Ход на широких, самодельных лесниковых лыжах все тяжелел. А каково в одном ватнике на солдатскую гимнастерку в тридцатиградусный мороз!

Изю дня в день по снегам, по снегам, из которых на ходу виднелись только передние, загнутые вверх концы лыж — остальное шло где-то под рыхлой пеленой... И каждый раз, спеша лесными просеками в квартал, где нужно отвести лесосеку, я не мог не любоваться мимоходом, не мог не поглядывать на симметричные ямки в виде трапеций — беличьи прыжки, на заячьи тропы, что канавками врезались в мягкий, пуховой снег. Идешь, шмыгаешь лыжами, смотришь — вон лисий нарыск, а в нем все шаги зверя идеально ровные, чистые, в линеечку...

По вечерам заходил я в сельский Совет посмотреть газету. Поэтому и знал, что в январе Красная Армия ликвидировала колчаковское войско; знал и то, что на юге наши гонят Деникина.

Дома, пообедав, садился я за «Почвоведение», чтобы в очередной наезд в Петроград сдать по нему экзамен (с профессорами у нас, желескомовцев, была договоренность).

Бушевали февральские метели, и еще трудней становилось брести на лыжах к лесосекам. Ну что ж! Мы с лесниками подбирали участки поближе к проезжим дорогам, меньше мытарились на лыжах.

Все звериные следы и следочки выюги заматали на-

чисто, наглухо, так, как будто в лесу не осталось ни единого зайца, ни одной белочки...

Но утихла погода, и зверье снова прокладывало свои пути-дороги, еще глубже январских.

Солнце все чаще сияло в небе, и не зря синицы принялись вызванивать: «февраль — кривые дороги!»

Нагрянула оттепель, да и сильная. И несколько дней, пока не подморозило, работать не приходилось. К лыжам стало подлипать так, что через несколько шагов они превращались в снеговые бревна. Работать не приходилось, но не приходилось и горевать об этом: лесосек я наотводил большой запас, ну и смело засел за «Общее лесоводство» («Почвоведение» уже было готово). Еще бы не сидеть над учебниками, когда вся Украина очищена от деникинской добрармии, когда Красная Армия прижала белых к Черному морю. Близилась к концу огромная, тяжкая борьба — новая судьба России была уже решена. Становилось ясно, что дрова скоро будут не нужны паровозам... Ну как же не сидеть над учебниками?

А потом по морозцу — опять в лес. Зашуршали лыжи, круша ледяную корку и почти не углубляясь в уплотненный оттепелью снег.

Опять моя буссоль указывала направление лесосечных визиров, и снова лесники, играя сверкающими на солнце топорами, пробивали эти визиры.

А с наших прежних лесосек тянулись и тянулись санные обозы, везли дрова, шпальную тюльку, бревна. Крестьянские лошаденки, похрапывая, тащили тяжелые возы по замаслившейся под солнцем дороге. Легко шли сани, но возчикам — гляди да гляди, чтобы на каком-нибудь повороте, на раскате да на перекошенной февралем дороге воз не опрокинулся!

В лесу обтаявшие, а потом подстывшие следы потемнели, стали странно большими и непонятными, словно не зайцы их проложили, а какие-то невиданные звери, у которых не лапы, а целые лапти.

Солнце грело, и лыжи после полудня начинали все глубже врезаться в расслабевший снег, а ночами ядреные морозцы сковывали наст. Поутру лыжи так и летели по нему, не оставляя следа.

Стали снега сереть, стали делаться крупитчатыми. Это уже март бежал по белу свету. День прибавился.

Еще засветло возвращался я теперь в деревню и, подкрепившись добрыми Авдотьиными щами, «житной» (ячменной) кашей да творожком, садился за учебники.

27 марта 1920 года командование Кавказского фронта (сюда был переброшен Тухачевский) докладывало Ленину о том, что южная контрреволюция уничтожена: захвачена огромная военная добыча, множество пленных. Остатки деникинцев бежали морем из Новороссийска в Крым...

В последний день марта вечером зашел к нам хозйкин деверь, председатель сельского Совета.

— Здорово, Авдотья!

— Здравствуй, Петя. Тебе чего?

— Студент дома?

— Дома! — откликнулся я из-за перегородки. — Вам что, Петр Ильич? — и я вышел к нему.

— Да вот вы не зашли в Совет, а газета интересная.

— Деникина дошибли?

— Нет, не про это. Про вас, про студентов. Декрет. Натек-ка!

Это были «Известия» за 27 марта. Я развернул, стал читать: «Декрет Совета Народных Комиссаров. О срочном выпуске инженеров-специалистов». Одним духом я прочел документ вплоть до подписей: «Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин), Управляющий делами Совета Народных Комиссаров В. Бонч-Бруевич, секретарь Л. Фотиева. 24 марта 1920 года».

Декрет состоял из восьми пунктов. Первый определял суть дела: «Организовать при наиболее приспособленных высших технических учебных заведениях усиленные занятия в течение весны и лета с тем, чтобы произвести ускоренный выпуск инженеров не позднее осени 1920 года».

Второй и третий пункты устанавливали, кого и как отбирать на эти занятия.

Особенно многозначителен был четвертый: «Откомандировать из всех без исключения учреждений, предприятий и Красной Армии (даже из Красной Армии!) всех бывших студентов, заявивших о своем желании закончить образование в текущем году и удовлетворяющих условиям приема на усиленные заня-

тия». Пунктом пятым «допущенные» объявлялись мобилизованными (опять мобилизованные!). Пункт шестой был особенно приятен: «...приравнять в отношении снабжения к учащимся военно-учебных заведений и выдавать... по 4800 рублей в месяц из средств Народного Комиссариата Просвещения». Зато примечание к восьмому пункту грозило за нерадивость к учению серьезными карами вплоть до отдачи под суд.

Я обнял дорогого председателя!

Правда, я не очень понимал, как смогу кончить институт к осени — ведь за душой пока было только два курса. Могли бы возникнуть и другие сомнения: например лесников еще никто, кроме валдайских дедов, не называл «инженерами», так что подходили ли лесники под действие декрета?

Но я и сомневаться не хотел — ни тени колебаний! Наш декрет!

Не слишком скоро делалось это, не так-то легко было создать срочные выпуски инженеров. Но 1 июня 1920 года желескомовцев вернули в институт (опять в порядке мобилизации!).

Это был наш третий и последний заход в Лесной. Он и привел нас, не так уж срочно, но привел к дипломам «ученых лесоводов» — инженеров лесного хозяйства.

С Л О В А Р Ь
НЕКОТОРЫХ МЕСТНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
И ОХОТНИЧЬИХ ТЕРМИНОВ,
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В РАССКАЗАХ

- Апортирование** — подача собакой убитой дичи.
- Багряный окрас гончей** — рыжий особого оттенка.
- Бѣшур** — самый низкий бас (о гончих).
- Беднокостная** (о собаке) — со слабым, неразвитым костяком.
- Бить на угонках** (о борзой) — не давать зверю уйти от травли, быстро справляясь на его крутых поворотах и вновь настигая его. Издавали кажется, что борзая сама как бы «бьет» зверя, отшвыривая его в сторону.
- Боровчина** — небольшой участок сухого бора среди ельников, или лиственных насаждений, или же болот.
- Валиться к рогу, в лес, к гону** (о гончих) — спешить во все ноги на сигнал рога, на поиск зверя, в стаю гончих.
- Варом варить** (о стае гончих) — гнать зверя во весь дух, во все голоса и с предельной страстью.
- Вертлюг** — кольцо ошейника, вращающееся благодаря особому устройству.
- Верх у борзой** — типичная для породы выгнутость спины вверх.
- Верх у легавой** — «верхнее чутье» — способность собаки обнаруживать птицу непосредственно по ее запаху, а не по следу на земле.
- Взбудный след** — след зверя, вскочившего с лёжки, «побудившегося».
- Выгорода** — огороженное место, обычно луг, используемый и как покос, и как выгон для скота (новгородское).
- Выжлец, выжловка** (только о гончих) — кобель, сука.
- Выжлятник** — служащий в псовой охоте при гончих.
- Высборка** (о борзой) — обучение борзой ходить на своре (на длинном поводке) при пешем или конном охотнике; также выработка послушания.
- Вязкость** (о гончей) — привязчивость, упорство на гону.
- Гон** — хвост гончей (также работа гончих, гоньба).
- Дать угонку зверю** (о борзой) — так приблизиться к скачущему зверю, что для своего спасения он вынужден броситься в сторону.
- Двойка** (о заячьем следе) — сдвоенный след, когда заяц проходит одним следом туда и обратно, чтобы затем «скинуться» в сторону.
- Добор** — отдача гончей голоса на «жировых» следах, при разборе следов далеко ушедшего зверя. Добор по зайцу — порок, по красному зверю — достоинство.
- Доезжащий** — служащий псовой охоты, заведующий стаей гончих, начальник выжлятников.
- Заркий гон** — ярый, азартный и вместе с тем несмолкаемый.
- Зарыять** (о борзой или гончей собаке) — задохнуться, обессилеть при отчаянном порыве за зверем или после долгого преследования его.
- Комплектная охота** — большая псовая охота с множеством борзых и гончих собак, лошадей и охотничьей прислуги.

Крымчак — борзая крымской породы, ныне уже не существующей в чистом виде. Теперь крымками иногда называют собак, принадлежащих к южной породе с висячими ушами.

Культурный надзиратель — лицо, назначенное в лесничестве для производства лесопосадок (лесных культур) и организации ухода за ними.

Лабаз — помост на деревьях для подкарауливания медведя.

Ловчий — главный псарь, служащий псовой охоты, ведающий всеми ее частями и самым производством охоты.

Малик — русачий след на снегу.

Мароватый гон — неумелый, с частыми перерывами. Из-под такого гона взять зверя можно только случайно.

Мертвая пороша — сразу выпавший глубокий снег, по которому обычно в первый день зверь не дает следа (не встает). Лес и поля представляются в отношении зверя как бы вымершими.

Мошник — глухарь (новгородское).

Наброды — совокупность следов птиц (обычно выводка), набродивших во время кормежки.

Наварщик — служащий псовой охоты, приготавливающий корм собакам.

Напуск — то же, что набрасывание гончих — пускание гончих (одной или нескольких) в лес для розыска зверя.

Нарыск — след зверя ходовой в отличие от жирового, то есть оставленного на месте кормежки. Нарыск — более или менее прямой, в одну линию, а жировой — путанный, состоящий из коротких переходов с места на место и сплетения их, иногда вплоть до вытаптывания какой-то площадки.

Натекать на след (о гончей) — набежать на след.

Нестомчивость — неутомимость.

Ногавка — кожаная муфточка на ноге подсадной утки для привязывания птицы к колу или якорю (камню).

Однопометники — щенки, родившиеся от одной матери за одно ее щенение (один помет).

Осек — изгородь. Еще в недавнее время в лесистых местностях (например, Новгородская область) простейший способ ограждения был такой: подрубали, подсекали деревья на высоте около метра, не отрубая их прочь от пня, и валили по линии, которая должна была стать преградой. Теперь осеком называется всякая изгородь, больше жерденевая.

Осенистая (о гончей или борзой) — прожившая и проработавшая много «осеней». Возраст этих собак считался по числу охотничьих сезонов.

Остров — отдельный, обычно небольшой лес среди полей.

Отвершек — ответвление оврага (верх — овраг).

Отдира (о гончей) — собака не стайная, предпочитающая отыскивать своего особого зверя и работать в одиночку, не подваливая к другим гончим, «отдирающаяся» от них.

Отнорок — нора лисицы или барсука обычно имеет несколько выходных отверстий — отнорков.

Пазанок — заячья лапа, которой награждают гончих и борзых.

Парфорс — металлический ошейник с тупыми шипами, употребляющийся при дрессировке легавых собак.

Перевидеть гонного зверя — увидеть его из-под гона, перехватив на лазу.
 Перемолчка — короткий перерыв гона, смолкание гончей на минуту или две.
 Подбиваться (о гончих и борзых) — уставать, обессилеть в результате длительной охоты («отбить ноги»)
 Подбрудок — отвислость кожи под шеей.
 Подвалить (о гончей) — присоединиться к гону других собак.
 Подводка (о легавой) — осторожный подход собаки к птице после стойки, по приказанию охотника.
 Поимистость — способность борзой не только догнать зверя, но и поймать его. Поимистость есть не у каждой борзой.
 Полаз гончей — то же, что поиск легавой, движение по лесу и другим уголкам для розыска зверя.
 Пометить зверя (о борзой) — увидеть, заметить.
 Помкнуть (о гончей) — заголосить, погнать с голосом, попав на взбудный след поднявшегося зверя. Помычка большей частью самый яркий момент гона.
 Понориться (о звере) — уйти в нору.
 Порскать — покрикивать, подсвистывать гончим, чтобы дать им направление движения по лесу до подъема зверя; подбадривание гончих, работающих в полазе, как правило, не на виду у охотника.
 Потёк волос — началась весенняя линька пушного зверя.
 Потяжка — осторожный подход легавой к птице до стойки.
 Почерк глухариний, чертежи — волнистые линии, которые глухарь чертит крыльями по снегу во время токования.
 Прибылой зверь — молодой, еще не перепадававший.
 Прибылой палец — нормально у собаки на лапах задних ног по четыре пальца. У некоторых пород (например, у польских гончих) бывают на плюснах пятые (и даже шестые) пальцы. Они и называются прибылыми.
 Пружки — ловушки для птиц, состоящие из тонкого пружинящего деревца и волосной или пеньковой петли.
 Редкоскал — гончая, отдающая на гону голос редко, с перерывами.
 Ровность ног — одинаковая быстрота нескольких гончих во время гона. Необходима для дружного гона.
 Рыскало — удлиненное железное кольцо, часть ошейника борзой или гончей, делающее ошейник более свободным, когда собака спущена со своры или поводка.
 Свальчивость — быстрое соединение собак для совместного гона, стоит лишь одной из них отдать голос по зверю.
 Свора — три или четыре борзых, а также: длинный ровный ремень, на котором пеший или конный борзятник ведет свору борзых до подъема зверя. Ошейники собак кольцами нанизываются на свору. Свободный ее конец охотник держит в руке, а петлю на другом надевает через правое плечо.
 Секундировать (о легавых) — работать в паре по одной птице.
 Скабелливый (о собаке) — капризный на еду.
 Скидка (сметка) — огромный прыжок зайца с тропы, с двойки или тройки для скрадывания (скрывания, прятания) следа.
 Скиркание — та часть глухариной песни, во время которой птица теряет слух.

Скол — смолкание гончей во время гона более чем на две минуты в связи с потерей следа. Скол может быть «выправлен», то есть гончая может разобраться в запутанных следах гонного зверя и продолжить гон, но может и окончательно «стерять» зверя.

Смычок — два ошейника, соединенные короткой, наглухо заделанной цепочкой. Смычком называют и двух гончих, приученных работать вместе. На выставке смычок гончих состоит обязательно из однопородных разнополых собак.

Соры — заросли бурьянов, сорных трав (саратовское).

Спеть (о борзой) — приближаться к преследуемому зверю.

Степень (о крестьянской усадьбе) — коренное место семьи, двора. Отделяя сыновей, отец обычно оставался «на степени» (новгородское).

Стойка под островом — выдерживание стаи гончих на опушке леса перед папуском, когда ни сворок, ни ошейников (смычков) на собаках уже нет.

Стремянный — в дореволюционной России в псовой охоте охотник-слуга, безотлучно находящийся при барине, обычно держащий на ремне барскую свору, пускающий ее по зверю и принимающий зверя из-под барской своры.

Течь (о стае гончих) — идти кучей позади конного или пешего доезжачего. Движение массы собак в плотной куче напоминает течение воды в реке.

Торока — ремешки, пришитые к седлу, служащие для привязывания, приторачивания пойманного борзыми зверя.

Тройка (о следе зайца) — место, где заяц прошел по одной линии трижды для запутывания следа, когда он отправился с жировки на лежку.

Тропа — состояние почвенного покрова, так или иначе влияющее на работу борзых и гончих. Тропа бывает «черная» — до снега, «белая» — когда снег сплошь укрывает землю и травы, «пестрая» — когда в результате таяния части снега чередуются участки черной и белой. Тропа бывает также жесткая и мягкая, влажная и сухая и т. д.

Угонка — крутой поворот зверя, преследуемого борзой, когда она, настигнув (достав) его, уже готова схватить. Чем резвее борзая догоняет зверя, тем круче угонка, вплоть до поворота назад; в таком случае говорят, что борзая поставила русака «ушми (не «ушами») назад».

Удалелый — зверь, которого гончая гонит, далеко отстав.

Хортая — порода борзых с короткой шерстью.

«Худой след» — заколдованный путь, на котором можно заблудиться и вовсе пропасть (новгородское).

Цветок — хвост русака.

Цвѣлый (о русаке) — побелевший в результате осенней линьки.

Чепрачный окрас гончей. Чепрачной называется гончая, у которой при основном багряном (рыжем) окрасе спина черная, как бы покрыта черным чепраком.

Черные мяса (о борзой) — мускулатура на бедрах, сильно развитая и выпирающая буграми у рабочей, постоянно тренирующейся собаки.